

Николай Лесков

Владычный суд



Николай Семёнович Лесков
Владычный суд

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175228

Содержание

I	4
II	7
III	12
IV	17
V	21
VI	27
VII	30
VIII	39
IX	47
X	53
XI	57
XII	62
XIII	66
XIV	68
XV	73
XVI	76
XVII	85
XVIII	89
XIX	94
XX	100

Николай Лесков

Владычный суд

Быль

(Из недавних воспоминаний)

*Не судите по наружности,
но судите судом праведным.
(Иоанна VII, 24).*

*Суд без милости —
не оказавшему милости.
(Иакова II, 13).*

I

В 1876 году я написал маленький рассказ, который называется «На краю света» (из воспоминаний архиерея). Он имел, как мне кажется, некоторый успех. По крайней мере я обязан так думать, судя и по довольно быстрой продаже книжечки и по разнообразию вызванных ею толков. Литературные органы, удостоившие ее внимания (не исключая и одного духовного издания), отзывались о ней чрезвычайно сочувственно и милостиво, но зато частным, негласным путем мне

довелось слышать иное. Некоторые весьма почтенные и довольно известные в духовенстве лица отнеслись к этому рассказу неодобрительно. То же самое высказано мне и многими редстокистами. И те и другие увидали в поведении описанного мною архиерея и миссионеров *мирволение неверию и даже нерадение о спасении души святым крещением*.

И экзальтированным мечтателям и положительным ортодоксалам одинаково не нравится, что описанный мною архиерей и миссионеры не спешили крестить бродячих дикарей, которые нимало не усвоили истин христианской веры и принимали крещение или страха ради, или из материальных расчетов.

Я не вижу никакой необходимости оправдываться в том, что я написал, хотя и для оправдания моего мне, может быть, стоило бы только отослать этих критиков к двум небольшим сочинениям блаженного Августина: «De fide et operibus» и «De catechisandis rudibus». Там они могут найти у этого великого христианского философа готовые ответы на укоризны, делаемые ими мне за моих «тенденциозно вымышленных героев». Но дело-то в том, что в упомянутом небольшом моем сочиненьице совсем и нет никакой тенденции и даже очень мало вымысла, а почти все – настоящее происшествие, весьма немного развитое только в некоторых деталях, и то по готовой канве.

Я не вижу более надобности скрывать, что архиерей, из воспоминаний которого составлен этот рассказ, есть не кто

иной, как недавно скончавшийся архиепископ ярославский, высокопреосвященный Нил, который *сам* рассказывал это *бывшее с ним* происшествие поныне здравствующему и живущему здесь в Петербурге почтенному и всякого доверия достойному лицу В. А. К-ву. В. А. К-в сообщил этот случай мне как прекрасный материал для характеристики светлого и ясного взгляда усопшего автора «Буддизма», а я только воспользовался этим материалом. Но, может быть, небезынтересно будет знать, что этот рассказанный мною случай, в котором всего замечательнее, конечно, взгляд архиерея, далеко не единичен в своем роде, и чтобы доказать это, я хочу теперь рассказать другое, близко мне известное происшествие, всех участников которого я уже буду называть их настоящими именами.

II

Очень молодым человеком, почти мальчиком, я начал мою службу в Киеве, под начальством Алексея Кириловича Ключарева, который впоследствии служил директором департамента государственного казначейства и был известен как «службист» и «чиновник с головы до пяток». Его боялись в Житомире, боялись в Киеве и только перестали бояться в Петербурге, где этот суровый и сухой формалист почувствовал, что он тут не к масти козырь, и вскоре по удалении от дел скончался. Он происходил из духовного звания, воспитывался в духовных учебных заведениях и был по натуре бурсак самого крепкого закала. Он был неутомим, деловит, логичен, сух, любил во всем точность и не обличал слабостей сострадательного сердца. Правда, он очень любил свою комнатную белую собачонку с коричневыми ушами; целовал ее взасос в самую морду; бывал в тревоге, когда она казалась ему грустной, и даже собственноручно ставил ей промывательное; но я никогда не видал, чтобы в его сухом, почти жестоким лице дрогнул хотя один мускул, когда он выгонял со службы многосемейного чиновника или стриг в рекруты малолетних еврейчиков, которых тогда брали на службу в детском возрасте.

Эта приемка жидовских ребятишек поистине была ужасная операция. Закон позволял приводить в рекруты детей не

моложе двенадцатилетнего возраста, но «по наружному виду» и «на основании присяжных разысканий» принимали детей и гораздо моложе, так как в этом для службы вреда не предвиделось, а оказывались даже кое-какие выгоды – например, существовало убеждение, что маленькие дети скорее обывкались и легче крестились.

Пользуясь таким взглядом, еврей-сдатчики вырывали маленьких жидочков из материнских объятий почти без разбора и прямо с теплых постелей сажали их в холодные краковские брики и тащили к сдаче.

Какими душу разрывающими ужасами все это сопровождалось, об этом не дай бог и вспомнить! По всем еврейским городам и местечкам буквально возобновлялся «плач в Раме»: Рахиль громко рыдала о детях своих и не хотела утешиться.

К самой суровости требований закона, ныне – слава богу и государю – уже отмененного, присоединялась еще к угнетению бедных вся беспредельная жестокость жидовской неправды и плутовства, практиковавшихся на все лады. Очередных рекрут почти никогда нельзя было получить, а приводились подочередные, запасные и вовсе неочередные; а так как наборы были часты и производились с замечательной строгостью, то разбирать было некогда и неочередные принимались «во избежание недоимки» с условием переменны впоследствии очередными; но условие это, разумеется, никогда почти не исполнялось. «Записано, и с рук долой».

Принятое дитя засылали в далекие кантонистские баталионы, и бедные родители не знали, где его отыскивать, а к тому же у рачительных партионных командиров, *по-своему* радевших о христианстве и, вероятно, тоже *по-своему* его и понимавших, значительная доля таких еврейчиков оказывалась окрещенными, прежде чем партия приходила на место, где крещение производилось еще успешнее. Словом, ребенок, раз взятый от евреев-родителей, был для них почти что навсегда потерян.

Очень многих из этих жидочков крестили еще и до выступления партий из Киева, чем особенно интересовалась и озабочивалась покойная супруга тогдашнего юго-западного генерал-губернатора, княгиня Екатерина Алексеевна Васильчикова (рожденная кн. Щербатова).

Самая вопиющая несправедливость при сдаче детей заключалась в том, что у них почти у всех без исключения никогда не бывало метрических раввинских выписей, и лета приводимого определялись, как я сказал, или наружным видом, который может быть обманчив, или так называемыми «присяжными разысканиями», которые всегда были еще обманчивее. Чту такое были эти присяжные разыскания, это весьма интересно и в своем роде может быть поучительно для некоторых мечтателей, имеющих высокое понятие о еврейской религиозности. Шесть или двенадцать жидков *присягали* где-то, что они «достаточно знают, что такому-то Шмилику или Мордке уже исполнилось двенадцать лет», и

на основании этого документа принимались в рекруты дети, которым было не более семи или восьми лет. Случаев этих было бездна. Бывало и то, что одна дюжина сынов Израиля, нанятая присягать сдатчиками, присягала, что Мордке двенадцать лет, а другая, нанятая для того же родителями ребенка, под такую же присягою удостоверяла, что ему только семь лет. Бывало даже, что и одни и те же люди присягали и за одно и за другое. Это объяснялось возникновением при описываемых мною обстоятельствах особого промысла «присягателей»: из самого мерзкого отребья жидовских кагалов, так хорошо описанных принявшим христианство раввином Брафманом, составлялись банды бессовестных и грубо деморализованных людей, которые так и бродили шайками по двенадцати человек, ища работы, то есть пытая везде: «чи нема чого присягать?»

И где было «чого присягать», там при продажном приставе и продажном «казенном раввине» бестрепетно произносилось имя Егови и его святым именем как бы покрывалась страшная неправда гнусной совести человеческой.

Вся кощунственная мерзость этого вопиющего злоупотребления именем божиим была всем узрима до очевидности; но... дело, обставленное с его формальной стороны, не останавливало течения этого «порядка». Ни судить, ни рядить, ни заступиться за слабого при самом очевидном его угнетении не было ни времени, ни средств, ни охоты...

Да; я не обмолвился: не было уже и *охоты*, потому что в

этом море стонов и слез, в котором мне в моей юности пришлось провести столько тяжких дней, – оступевало чувство, и если порою когда и шевелилось слабое сострадание, то его тотчас же подавляло сознание полнейшего бессилия помочь этому ужаснейшему, раздирающему горю целой толпы завывавших у стен палаты матерей и рвавших свои пейсы отцов.

Ужасные картины, повторяясь изо дня в день, притупляли впечатлительность даже и в не злом и в доступном состраданию сердце.

«Привычка – чудовище».

Но как нет правил без исключения, то и тут, в этой тягостной полосе моих ранних воспоминаний, есть одно исключение, с которым для меня соединяется самое светлое воспоминание о небольшом и, конечно, неважном, но, по моему мнению, в высшей степени замечательном и оригинальном происшествии, бросающем мягкий и теплый луч света на меркнувшую в людской памяти личность благодушнейшего иерарха русской церкви, покойного митрополита Киевского Филарета Амфитеатрова.

Может статься, что читатель будет немножко удивлен: кое общение митрополиту с жидовским набором?! И впрямь есть чему удивляться; но чем это кажется удивительнее, тем должно быть интереснее, и ради этого-то интереса я приглашаю читателя терпеливо последовать за мною до конца моего небольшого рассказа.

III

А. К. Ключарев, невзирая на мои юные тогда годы, назначил меня к производству набора. Дело это, не требующее никаких так называемых «высших соображений», требует, однако, много усилий. Целые дни, иногда с раннего утра до самых сумерек (при огне рекрут не осматривали), надо было безвыходно сидеть в присутствии, чтобы разъяснять очередные положения приводимых лиц и представлять объяснения по бесчисленным жалобам, а также подводить законы, приличествующие разрешению того или другого случая. А чуть закрывалось присутствие, начиналась самая горячая подготовительная канцелярская работа к следующему дню. Надо было принять объявления, сообразить их с учетами и очередными списками; отослать обмундировочные и порционные деньги; выдать квитанции и рассмотреть целые горы ежедневно в великом множестве поступавших запутаннейших жалоб и каверзнейших доносов.

Канцелярия, состоящая из командированных к этому времени из разных присутственных мест чиновников, исполняла только то, что составляло механическую работу, то есть ее дело вписать и записать, выдать, все же требующее какой-нибудь сообразительности и знания законов лежало на одном лице – на делопроизводителе. Поэтому к этой мучительной, трудной и ответственной должности всегда выбирались лю-

ди служилые и опытные; но А. К. Ключарев, по свойственной ему во многих отношениях непосредственности, выбрал в эту должность меня – едва лишь начавшего службу и имевшего всего двадцать один год от роду.

Легко представить: какие усилия я должен был употреблять, чтобы вести в порядке такое суматошное и ответственное дело при таком строгом начальнике, как А. К. Ключарев, которого потом сменил благодушный Н. М. Кобылий, тоже удержавший меня на этой должности. Мучения мои начинались месяца за полтора до начала набора, по образованию участков, выбору очередей и проч.; продолжались месяца полтора-два во время самого набора и оканчивались после составления о нем отчета. Во все это время я не жил никакой человеческою жизнью кроме службы: я едва имел час-полтора на обед и не более четырех часов в ночь для сна.

Всякий, вероятно, легко поймет, как при такой жизни у меня было мало времени для того, «чтоб сердцем умилиться, о людях плакать и молиться».

В это-то время, – может быть даже в один из самых надоедлых дней, я сидел раз вечером за своим столиком в присутственной комнате и читал одну за другою набросанные мне жалобы. Их, по обыкновению, было очень много, и большинство их – почти тождественного содержания. Все они содержали одни и те же сетования и были написаны по одному очень грустному и очень пошлему шаблону. Но вдруг мне попал в руки листок прескверной, скомканной бумаги,

на котором невольно остановилось мое внимание. От этой бумажонки так и несло самым безучастным и самым непосредственным горем, которого нельзя было не заметить, как нельзя не заметить насквозь промерзшего окна, потому что от него дышит холодом. Самый вид этой бумажонки напоминал того нищего, про которого Гейне сказал, что у него

глядела...

Бедность в каждую прореху,
И из очей глядела бедность.

Я почувствовал неотразимую потребность самым внимательным образом вникнуть в эту бумагу, но лишь только приступил к ее чтению, как сейчас же увидал, что это было почти невозможно. Невозможно было понять: на каком это было писано языке и даже каким алфавитом. Тут были буквы и польские, и русские, и вдруг между ними целое слово или один знак по-еврейски. Самое надписание было что-то вроде надписания, какое сделали гоголевские купцы в жалобе, поданной «господину финансову» Хлестакову: тут были и слова из высочайшего титула и личное имя председателя, и упоминались «уси генерал-губернатора, и чины, и ваши обер-преподобие, увместе с флигерточаков,¹ и увси, кто в бога вируе».

Словом, было видно, что проситель жаловался всем вла-

¹ „Флигерточаков“ это должно было значить „флигель-адъютант Чертков“. (Прим. Лескова.).

стям в мире и все это устроил в такой форме, что можно было принять, пожалуй, за шутку и за насмешку, и было полное основание все это произведение «оставить без последствий» и бросить под стол в корзину. Но опять повторяю, здесь «глядела бедность в каждую прореху, и из очей глядела бедность», – и мне ее стало очень жалко.

Вместо того чтобы отбросить бумажонку за ее неформенность, как «неподлежаще поданную», я ее начал читать и «духом возмутился, – зачем читать учился». Нелепость в надписании была ничто в сравнении с тем, что содержал самый текст, но зато в этой нелепости еще назойливее вопияло отчаяние.

Проситель в малопонятных выражениях, из коих трудно было добраться до смысла, рассказывал следующее: он был «интролигатор», то есть переплетчик, и, обращаясь по своему мастерству с разными книгами, «посыдал много науки в премудрость божяго слова пообширного рассуждения». Такое «обширное рассуждение» привело его в опалу и у кагала, который в противность всех правил напал ночью на домишко «интролигатора» и с его постели увлек его десятилетнего сына и привез его к сдаче в рекруты. «Интролигатор» действительно не был на очереди и представлял присяжное разыскание, что взятый кагалом сын его имеет всего семь лет; но очередь в эти дни перед концом набора не наблюдалась, а кагал в свою очередь представлял другое присяжное разыскание, что мальчику уже исполнилось двенадцать лет.

Интролигатор, очевидно, предчувствовал, что мирская кривда одолеет его правду, и, не надеясь восторжествовать над этою кривдою, отчаянно молил подождать с принятием его сына «только день один», потому что он нанял уже вместо своего сына наемщика, двадцатилетнего еврея, и везет его к сдаче; а просьбу эту посылает «в увперед по почте».

IV

По обычаям, у нас существовавшим, все это ничего не значило, – и так как самого интролигатора с его наемщиком не было в Киеве, а его мальчик был уже привезен и завтра назначен к осмотру, то было ясно, что если он окажется здоров и тельцем крепок, то мы его «по наружному виду» пострижем и пустим в ход.

С этим я и отложил просьбу интролигатора в сторону с подлежащею справкою и пометою. Более я ничего не мог сделать; но прошел час, другой, а у меня ни с того ни с сего из ума не выходил этот бедный начитанный переплетчик. Мне все представлялось: как он прилетит завтра сюда с его «обширным рассуждением», а его дитя будет уже в солдатских казармах, куда так легко попасть, но откуда выбраться трудно.

И все мне становилось жальче и жальче этого бедного жидка, в просьбе которого так неожиданно встречалось его «широкое образование», за которым мне тут чувствовалась целая старая история, которая вечно нова в жестоковыйном еврействе. Не должно ли было это просто значить, что человек, имевший от природы добрую совесть, немножко пораздвинул свой умственный кругозор и, не изменяя вере отцов своих, попытался иметь свое мнение о духе закона, сокрываемом буквою, – стал больше заботиться об очищении своего

сердца, чем об умывании рук и полоскании скляниц, – и вот дело готово: он «опасный вольнодумец», которого фарисейский талмудизм стремится разорить, уничтожить и стереть с лица земли. Если бы этот человек был богат, ел свиные колбасы у исправника, совсем позабыл Егову и не думал о его заповедях, но не вредил фарисейской лжеправедности – это было бы ничего, – его бы терпели и даже уважали бы и защищали; но у него явилась какая-то *ширь*, какая-то свобода духа, – вот этого подзаконное жидовство стерпеть не может.

Восемнадцать столетий этой *старой истории* еще не изменили;² но я, впрочем, возвращаюсь к своей истории.

Кому-нибудь, может быть, покажется странным – почему я придавал такое значение словам интролигатора, который, будучи пристигнут бедою, очень мог нарочно прикинуться гонимым за свободу мнений?

Я это понимаю, и, конечно, случись это теперь, – подозрение, весьма вероятно, могло бы закрасться и в мою голову, но в ту пору, к которой относится мой рассказ, о таких вещах, как «свобода мнений», не думали даже люди, находившиеся в положении гораздо более благоприятном, чем бед-

² Русское законодательство имело в виду эту фарисейскую мстительность, и в IV томе свода законов были положительные статьи, которыми вменялось в обязанность при рассмотрении общественных приговоров о сдаче евреев в рекруты «за дурное поведение» обращать строгое внимание, чтобы под видом обвинения в «дурном поведении» не скрывались козни фанатического свойства, мстящие за неисполнение тех или других «еврейских обрядов»; но евреи это отлично обходили и достигали, чего хотели. (*Прим. Лескова.*)

ный жидок, у которого похитили с постели его единственного ребенка. Ему не могло прийти в голову пощеголять либерализмом, который послужил бы ему скорее в напасть, чем в пользу, а это отнюдь не свойственно представителю расчетливой еврейской породы. Следовательно, я имел основание умозаключить, что слово о религии тут употреблено самым искренним образом.

Повторяю: мне стало жаль бедного интролигатора, и я вздумал ему немножко помочь. Я хотел, возвращаясь ночью домой, заехать в английскую гостиницу, где квартировал находившийся для набора флигель-адъютант, и сказать ему: не пожелает ли он вступить за бедного человека, – попросить, чтобы прием рекрут этого участка был на один день отложен.

Флигель-адъютанты, которых присылали к наборам, хотя прямо в такие распорядки не вмешивались, но их ходатайства всегда более или менее уважались. Однако и эта моя задача не годилась, потому что прежде, чем я привел свое намерение в исполнение, несчастное дело бедного интролигатора осложнилось такими роковыми случайностями, что спасти его сына могло уже разве только одно чудо. И что же? чудо для него совершилось, и притом совершилось свободно, просто и легко, наперекор всем видимым невозможностям, благодаря лишь одному тому кроткому «земному ангелу», за какового многие в Киеве почитали митрополита Филарета, привлеченного сюда – к этому жидовскому делу – самым неожиданным образом и перевершившего всю жидов-

скую кривду и неподвижную буквенность закона своим живым и милостивым *владычным судом*.

V

Часу в двенадцатом ночи я услышал какой-то сильный шум в огромной канцелярской зале, смежной с присутственной камерой, где я сидел один за моим делопроизводительским столиком.

Подобные беспорядки, как шум, случались, потому что ко мне, как к слишком молодому начальнику канцелярии, подчиненные мои страха не питали и особой аттенции не оказывали. Лучшими из них относительно субординации были старые титулярные советники, декорированные «беспорочными пряжками» и станицавами. Эти важные люди хотя и не жаловали меня, как «мальчишку», которого, по всем их соображениям, «в обиду посадили им на шею», но обряда ради солидничали, молодежь же, хотя и была исполнительна в работе, а вела себя дурно. Они, случалось, и резвились и потешались насчет тех же «титулярных», между которыми был один, весьма вероятно, многим до сих пор в Киеве памятный, Григорий Иванович Салько, – величайший чудак, обучавшийся у «дьяка» и начавший службу «при дьяке» и необыкновенно тем гордившийся. Он имел совершенно своеобразное пристрастие к старому канцелярскому режиму и давал всем оригинальные советы из дьяковской мудрости. Так, например, я помню, как он, заметив однажды, что я едва преодолеваю усталость и дремоту, сказал мне:

– Сделайте, как меня старый дьяк учил: возьмите у меня из табакерки щепоть табаку да бросьте себе в глаза – сон сейчас пройдет. Мы, в то время, когда еще настоящая служба была... это когда еще вас на свете не было, – все, бывало, так делали.

Этого и других ему подобных стариков легкомысленная молодежь часто дразнила и выводила из терпения, причем нередко дело от шуток доходило и до драк.

Пора относительно еще весьма недавняя, но уже совсем почти невероятная.

Так и в этот раз, заслышав шум, я полагал, что мои молодцы раздражили кого-нибудь из титулярных советников и произошла обыкновенная свалка, которая должна сейчас же разрешиться дружным хохотом. Но дело выходило не так: я слышал, что вся моя орава куда-то отхлынула и канцелярия как будто сразу опустела.

Я встал и вышел посмотреть, что случилось. Зала действительно была пуста, свечи горели на не занятых никем столах и только в одном углу неподвижно, как мумия, сидел старейший из моих титулярных советников – Нестор киевских канцелярий, – Платон Иванович Долинский, имевший владимирский крест за тридцатипятилетнюю службу.

Этот наш Нестор был огромный, сухой, давно весь как лунь поседевший престарелый хохол, державший себя очень неприступно и важно.

Он обыкновенно никогда без крайней надобности не под-

нимался с своего места и не разговаривал, а если разговаривал, то ругался, и непременно по-хохлацки.

Завидев меня, он медленно взглянул вверх своих медных очков и сейчас же, сердито задвигав челюстями, начал меня пробирать:

– Що же, хйба вы не бачыте, що тут роблять: они уси побигли дывиться на скаженого жидюгу. Це же вам стыдно: який же вы старший? Идыть бо гоните их, подлецов, назад до праці.

– Какой же, спрашиваю, там взялся сумасшедший?

– А чертяка его видае, звиткиля вин взявся! Ось вон там, гдесь на сходах крутиться.

Я взял с одного из столов свечу и пошел к выходу на лестницу.

Здесь, на просторной, очень тускло освещенной террасе были все мои чиновники. Густо столпившись сплошную массой, они наседали на плечи друг другу и смотрели в средину образованного ими круга, откуда чей-то задыхающийся отчаянный голос вопил скверным жидовским языком:

– Ай-вай! спустите мене, спустите... Уй, ай, ай-вай, спустите! Ай, спустите, бо часу нема, бо он вже... там у лавру... утик... Ай, гашпадин митрополит, гашпадин митрополит... ай-вай, гашпадин митрополит, когда ж, ви же стар чоловік... ай-вай. когда же ни у бога вируете... ай... што же это такой бу-у-дет!.. Ай, спустить мене, ай... ай!

– Куда тебя, парха, пустить! – остепенял его знакомый го-

лос солдата Алексеева.

– Туда... гвалт... я не знаю куда... кто в бога вируе... спустите... бо я несчастливый, бидный жидок... що вам мине тримать... що мине мучить... я вже замучин... спустите ради бога.

– Да куда тебя, лешего, пустить: куда ты пойдешь, куда просишься?

– Ай, только спустите... я пиду... ей-богу, пиду... бо я не знаю, куда пиду... бо мине треба до сам гашпадин митрополит...

– Да разве здесь, жид ты этакой, сидит господин митрополит! – резонировал сторож.

– Ах... кеды ж... кеды ж я не знаю, где сидит гашпадин митрополит, где к нему стукать... Ай, мне же его треба, мне его гвалт треба! – отчаянно картавил и отчаянно бился еврей.

– Мало чего тебе треба: как тебя, парха, и пустят до митрополита.

Жид еще лише завыл.

– Ай, мине нада митрополит... мине... мине не пустят до митрополит... Пропало, пропало мое детко, мое несчастливое детко!

И он вдруг пустил такую ужасающую ноту вопля, что все даже отшатнулись.

Солдат зажал ему рукою рот, но он высвободил лицо и снова завопил с жидовскою школьною вибрацією:

– Ой, Иешу! Иешу Ганоцри! Он тебя обмануть хочет: не бери *его*, лайдака, мишигинера, плута... Ой, Иешу, на що тебе такой поганец!

Услышав, что этот жидок зовет уже Иисуса Христа,³ я раздвинул толпу. Передо мною было зрелище, которое могло напомнить группу с бесноватым на рафаэлевской картине «Преображения», столь всем известной по превосходной гравюре г. Иордана. Пожилой лохматый еврей, неопределенных лет, весь мокрый, в обмерзлых лохмотьях, но с потным лицом, к которому прилипли его черные космы, и с глазами навывате, выражавшими и испуг, и безнадежное отчаяние, и страстную, безграничную любовь, и самоотвержение, не знающее никаких границ.

Его держали за шиворот и за локти два здоровенные солдата, в руках которых он корчился и бился, то весь сжимаясь как улитка, то извиваясь ужом и всячески стараясь вырваться из оковавших его железных объятий.

Это ужасающее отчаяние, – и эта фраза «кто в бога веруе», которую я только что прочел в оригинальной просьбе и которую теперь опять слышал от этого беснующегося несчастного, явились мне в общей связи. Мне подумалось:

«Не он ли и есть этот интролигатор? Но только как он мог так скоро поспеть вслед за своим прошением и как он не замерз в этом жалчайшем рубище и, наконец, что ему надо, что

³ «Иешу Ганоцри» по еврейскому произношению значит *Иисус Назарянин*. (Прим. Лескова.).

такое он лепечет в своем ужасном отчаянии то про лавру, то про митрополита, то, наконец, про самого Иегошуа Ганоц-ри?⁴ И впрямь он не помешался ли?»

И чтобы положить конец этой сцене, я махнул солдатам рукою и сказал: «Пустите его». И лишь только те отняли от него свои руки, «сумасшедший жид» метнулся вперед, как кошка, которая была заперта в темном шкафе и перед которою вдруг неожиданно раскрылись дверцы. Чиновники – кто со смехом, кто в перепуге – как рассыпанный горох шарахнулись в стороны, а жид и пошел козлякать.

Он скакал из одной открытой двери в другую, царапался в закрытую дверь другого отделения, и все это с воплем, с стонами, с криком «ай-вай», и все это так быстро, что прежде, чем мы успели поспеть за ним, он уже запрыгнул в присутствие и где-то там притаился. Только слышна была откуда-то его дрожь и трепетное дыхание, но самого его нигде не было видно: словно он сквозь землю провалился; трясется, и дышит, и скребется под полом, как тень Гамлета.

⁴ Имя „Иисус“ иногда произносится *Иешу*, иногда *Иегошуа* (Прим. Лескова.).

VI

Через минуту он был, однако, открыт: мы нашли его скорячившимся на полу у угла стола. Он сидел, крепко обхватив столовую ножку руками и ногами, а зубами держался за край обшитого галунами и бахромю красного сукна, которым был покрыт этот стол.

Можно было подумать, что жид считал себя здесь как «в граде убежища» и держался за этот угол присутственного стола, как за рог жертвенника. Он укрепился, очевидно, с такою решительностию, что скорее можно было обрубить его судорожно замершие пальцы, чем оторвать их от этого стола. Солдат тормозил и тянул его совершенно напрасно: весь тяжелый длинный стол дрожал и двигался, но жид от него не отдирался и в то же время орал немилосердно.

Мне это стало отвратительно, и я велел его оставить и послал за городовым доктором; но во врачебной помощи не оказалось никакой надобности. Чуть еврея оставили в покое, он тотчас стих и начал копошиться и шарить у себя за пазухой и через минуту, озираясь на все стороны – как волк на садке, подкрался ко мне и положил на столик пачку бумаг, плотно обернутых в толстой бибуле, насквозь пропитанной какою-то вонючею коричневатю, как бы сукровистою влагою – чрезвычайно противною.

Неловко признаться, а грех потаить, – я не без гадливости

развернул эти бумаги, которые были не что иное, как документы найма, совершенного интролигатором за своего сына.

Итак, не оставалось никакого сомнения, что сей «стения и трясыйся» есть не кто иной, как тот самый «широко образованный» израелит, которого просьба меня так заняла.

Значит, мы были уже немножко знакомы.

Не отсылая его от себя, я быстро пробежал привычным глазом его вонючие бумаги и увидел, что все они совершенны в должном порядке и его наемщик, двадцатидвухлетний еврей, по всем правилам непрекаемо должен быть допущен к приему вместо его маленького сына, – даже и деньги все – сто рублей – этому наемщику сполна уплочены.

Но тогда в чем же заключается беда этого человека и чего ради вся эта его страшная, мучительная тревога, доходящая его до такого подавляющего, безумного отчаяния, похожего на бешенство?

А беда была страшная и неотразимая, и интролигатор понимал ее, но еще не во всем ее роковом и неодолимом значении.

Я должен рассказать, в чем было дело.

Наемщик интролигатора, как выше уже сказано, молодой, но совершеннолетний еврей (наниматься дозволялось по закону только совершеннолетним) был, как приходилось думать, большой плут. Он устроил с бедным жидом самую коварную, разорительную штуку, и притом так твердо и основательно рассчитанную и построенную на законе, что ее не

могла расстроить *никакая законная власть на земле*. А, разумеется, ни мне, ни интролигатору в эту пору на мысль не приходило подумать о власти добродетельнейшего лица, которое могло изречь решение не от мира сего, – решение, после которого мирским законооведам оставалось только исполнить правду, водворенную владычным судом милосердного Филарета над каверзною жидовскою кривдою, пытавшеюся обратить в игрушку и христианскую купель и все «предусмотрения закона».

VII

Надо знать, что по закону – еврея в рекрутстве мог заменить *только еврей*, а ни в каком случае не христианин. Этим, конечно, и объяснялось, что случаи замены одного еврейского рекрута по найму другим евреем были необыкновенно редки.

Если военной службы боится и не любит всякий простолюдин, то еврей отбегает ее сугубо, и доброю волею или наймом его в солдатство не заманишь. И какой соблазн могла представить еврею сумма в триста – четыреста рублей, когда каждый жидок, если он не совсем обижен природою, всегда может сам добыть себе такую сумму безопасным гешефтом? А обиженные природою не годились и в службу.

Следовательно, желающему отыскать наемщика оставалось только найти где-нибудь какого-нибудь забулдыгу, который бы, от некуда деться, согласился наняться в военную службу. Но такие экземпляры в еврейской среде всегда редки.

Однако интролигатор, на свое счастье и несчастье, нашел эту редкость; но что это был за человек? – Это был в своем роде замечательный традиционный жидовский гешефтист, который в акте найма усмотрел превосходный способ обдѣлывать дела путем разорения ближнего и профанации религии и закона. И что всего интереснее, он хотел все это про-

делать у всех на глазах и, так сказать, ввести в употребление новый, до него еще неизвестный и чрезвычайно выгодный прием – издеваться над религиею и законом.

Этот штукарь был один из подмастерьев дамского портного, «кравца» Давыдки, бывшего в то время для Киева тем самым, что ныне парижский Ворт для всего так называемо-го «образованного света». Подмастерье этот был за какие-то художества прогнан с места и выслан из Киева. Шатаясь без занятий из города в город «Золотой Украины», он попался интролигатору в ту горячую пору, когда этот последний вел отчаянную борьбу за взятого у него ребенка, и наем состоялся; но состоялся неспроста, как это водилось у всех крещеных людей, а с хитрым подвохом и заднею мыслию, которую кравец, разумеется, тщательно скрывал до тех пор, пока ему настало время действовать. Он нанялся за интролигаторского сына ценою за четыреста рублей, но с тем, чтобы условие было писано между ними всего только на сто рублей, а триста даны ему вперед, без всяких формальностей. Это, впрочем, не заключало в себе ничего необычайного, так как сделки без законных формальностей или по крайней мере с некоторым их нарушением и обходом – в натуре евреев.

Интролигатор, нужда которого была так безотложна, не спорил с наемщиком и сразу согласился на все его условия. Он сейчас же продал за двести рублей «дом и всю удобу», – словом, все, что имел, и за триста закабалился кабальной записью работать какому-то богатому еврею. Словом, как го-

ворят, «обовязался» вокруг, – и триста рублей «кравцу» были выданы. Затем наскоро были написаны все бумаги, и интролигатор послал по почте описанную мною в начале моего рассказа просьбу, а потом и сам поскакал вслед за нею в Киев со всеми остальными бумагами и с своим наемщиком. Тут его и сторожила беда: это был крайний момент, дальше которого наемщик не мог продолжать своих прямых отношений к нанимателю и открыл игру. Дорогою, «на покорме» в каком-то белоцерковском «заязде», он *исчезнул со стодола*.

Дойдя до этой точки своего рассказа, мой жидок опять взвыл и опять потерял дар слова и насилу-насилу мог досказать остальное, что, впрочем, было весьма коротко и просто. Улучив минуту, когда наниматель торговался за какие-то припасы, а сторож зазевался, кравец удрал на другой стодол к знакомому «балагуле»,⁵ взял, не торгуясь или посулив щедрую плату, четверку подчегарых, легких и быстрых жидовских коней и укатил в Киев – *креститься*.

Ужаснее этого для интролигатора ничего не могло быть, потому что с этим рушилось все его дело: он был ограблен, одурачен и, что называется, без ножа зарезан. У него пропал сын и погибло все его состояние, так как объявивший желание креститься кравец сразу квитовал этим свое обязательство служить за еврея, данное прежде намерения, о котором одно заявление уже ставило его под особенное покровительство закона и христианских властей.

⁵ Извозчик, содержатель брик. (Прим. Лескова.)

Самое бестолковое изложение этого обстоятельства для меня было вполне достаточно, чтобы понять всю горечь отчаяния рассказчика и всю невозможность какой бы то ни было для него надежды на чье бы то ни было заступление и помощь. Но в деле этом были еще осложнения, силу и значение которых мог настоящим образом понимать только человек, не совсем чуждый некоторым общественным комбинациям.

Интролигатор, всхлипывая и раздирая свой «лапсардак»,⁶ сообщил мне, что он очень долго искал своего кравца по Белой Церкви. Путаясь из стодола в стодол с различными «мишурисами», которые умышленно давали ему фальшивые сведения и водили его из двора в двор, чтобы схватить «хабара» и проволочь время, он истратил на это бесполезно почти целый день, который у беглеца не пропал даром. Когда интролигатор, после долгой суеты и бегства по Белой Церкви и потом по Киеву, напал на заметный лисьим хвостом волчий след своего беглеца, тот уже спокойно сидел за лаврской стеною и готовился к принятию святого крещения.

Ясно было, что этот плут задумал разорить своего контрагента посредством профанации христианской купели, но как можно было обличить и доказать его неискренность и преступное кощунство? Кто за это возьмется, когда закон на стороне этого «оглашенного» и на его же стороне были

⁶ Лапсардак – коротенькая кофта с установленным числом завязок и бахромо-чек. Талмудисты носят этот «жидовский мундир» под верхним платьем. (*Прим. Лескова.*)

силы, которые мнились тогда еще сильнее закона. Хитрый жид, проживая год тому назад у киевского Ворты, усвоил себе некоторые сведения как о слабостях, так и о силе и значении некоторых лиц, важных не столько по их собственному официальному положению, сколько по их влиянию на лиц важного официального положения. Таким лицом тогда по преимуществу была супруга покойного генерал-губернатора князя Иллариона Илларионовича Васильчикова, княгиня Екатерина Алексеевна (рожденная княжна Щербатова), о которой я уже упоминал выше. Она тогда была в каком-то удивительно напряженном христианском настроении, которое было преисполнено благих намерений, но всем этим намерениям, как большинству всех благих намерений великосветских патронесс, к сожалению, совсем недоставало одного: серьезности и практичности, без коих все эти намерения часто приносят более вреда, чем пользы... Это что-то роковое, вроде иронии судеб.

Религиозность княгини была совсем не в жанре нынешней великосветской религиозности, заключающейся преимущественно в погоне за «оправданием верою»; нет; княгиня Екатерина Алексеевна искала оправдания «делами» и наделала их столько, что автор «Опыта исследования о доходах и имуществах наших монастырей» должен был дать ей очень видное место. После княгини Анны Алексеевны Орловой княгиня Васильчикова оказывается самую крупную из титулованных монастырских строительниц. Она была фунда-

торкою весьма ныне известного общежительного близ Киева монастыря, который, по исследованию г-на Ростиславова, владеет благодаря щедрости княгини тридцатью шестью верстами земли и угодьями, которых не описал г-н Ростиславов. Но прежде чем оказывать такое благодеяние вновь устроившемуся монастырю «старца Ионы», княгиня была известна в Киеве как филантропка. Под ее покровительством Киев ознакомился со всеми приемами современной общественной благотворительности; при ней там пошли в ход лотереи, концерты, балы, маскарады и спектакли в пользу бедных. Словом, при ней и благодаря ей «широко развилась» вся та *sui generis*⁷ «христианская» благотворительность, которая во многих своих чертах в наше время получила уже должную критическую оценку, но, однако, и до сих пор практикуется обществом, потерявшим сознание о прямых путях истинного христианского милосердия.

Одновременно с заботами о благотворении посредством учреждения различных общественных забав княгиня получила большое влечение к улучшению нравов и распространению христианской веры. Здесь она была даже, кажется, оригинальнее и смелее всех великосветских патронесс Петербурга, что, может быть, следует приписать ее первенствующему и в некотором отношении полномочному значению в Киеве, который с любопытством и с некоторого рода благоговейным недоумением смотрел на затеи «своей княгини».

⁷ Своего рода (*лат.*).

После celibата, царствовавшего в генерал-губернаторском доме в бибииковское время, появление там женщины, не отказывавшей себе в удовольствии дать обществу почувствовать ее присутствие, влияние ее было очень заметно, и прежде всего оно вызвало в дамском кругу довольно сильную ей подражательность.

С виду все это, пожалуй, как будто походило на что-то живое и даже очень полезное, но потом многие начали понимать и толковать об этом иначе, но не в этом дело: благодеяния и морализация были так сильны, что даже из «магдалинского приюта» для *кающихся* проституток одно время было признано полезным выдавать «магдалинок» замуж за солдат. Этим путем хотели «не допустить псу возвратиться на свою блевотину». Княгиня принимала самое теплое участие в устройстве этих браков и давала даже *невестам* приданое, имевшее для солдатиков свою притягательную силу. Они женились на «магдалинках», конечно всего менее заботясь о глубине и искренности их раскаяния, «лишь бы получить сто рублей и кой-что из одёжи». Затем, разумеется, утешив княгиню актом своего бракосочетания и воспользовавшись тем, чем каждый из супругов считал удобным для себя воспользоваться, они сепарировались и расходились «кийждо восвояси»... Анекдоты при этом случались самые курьезные. «Псы» опять возвращались на свою блевотину, но только саморазврат заменялся развратом «по согласу», с мужнего позволения. Словом, по иронии судьбы над аристокра-

тическую неумелостью и непониманием, «последняя быша горше первых». Бывали случаи, что супруг-солдат с самого своего свадебного пира сам отпускал свою новобрачную супругу к одному из шаферов, в числе коих бывали «люди благородные», принимавшие на себя шаферские обязанности, чтобы «быть на виду», угождая княгине участием в ее гуманных затеях.

Женатых таким образом солдатиков трудно строго и винить за то, что они так охотно сбывали с рук полученных ими избалованных жен. Куда ему, бедняку, в его суровом положении, *такая жена*, с ее отвычкою от всякого тяжелого труда и с навыком ко всякому «баловству»?

Солдатик, женившийся на проститутке всего чаще по инициативе начальства, желавшего доставить субъекта, нужного для предположенной княгинею «магдалининой свадьбы», подчинялся своему року и брал то, что ему на что-нибудь годилось; а жену, обвыкшую «есть курку с маслом и пить сладкое вино», сидя на офицерских коленях, пускал на все четыре стороны, из которых та и выбирала любую, то есть ту самую, с которой она была больше освоена и где она надеялась легче заработать сумму, какую обещала платить мужу, пустившему ее «по согласу».

Таковы были «иронические» результаты этой игрушечной затеи сентиментальной и мечтательной морализации, которая, впрочем, довольно скоро надоела, и с нею покончили.

Гораздо упорнее были заботы о крестительстве, но, к со-

жалению, и тут тоже довольно часто выходили своего рода печальные курьезы. Ревностью княгини в этом роде полнее всех злоупотребляли малосовестливые люди, являвшиеся с притворною жаждою крещения из той низменной среды еврейских обществ, которая больше всех терпит и страдает от ужасной кагальной неправды жидовских обществ. Нигде не находя защиты от царящей здесь деморализации, эти люди сами деморализуются до того, что, по местному выражению, «меняют веру, як цыган коняку». В этом-то отребии, к которому принадлежал по своему положению и наемщик нашего интролигатора, и вырабатывалась особая практика для эксплуатации крестительского рвення княгини, к которой, по установившемся у бедных жидков поверью, «стоило только *удаться*», и уже тогда никто не смеет тронуть, хоть бы «увесь закон *пенькнул*» (треснул).

В таком мнении, возникшем у смышленных евреев, едва ли все было преувеличением. По крайней мере не одни жидки, а и многие из очень просвещенных христиан так называемого «высшего» киевского общества в то время гораздо менее серьезно осведомлялись о том, как хочет князь, чем о том — чего угодно княгине?

VIII

Заматавшийся и потом попавший в рекруты подмастерье портного Давыдки всеконечно имел довольно верные понятия о генеральном положении дел в Киеве. И вот он задумал этим воспользоваться и безнаказанно разорить и погубить подвернувшегося ему интролигатора.

Взялся он за это превосходно: в то самое время, когда его наниматель сочинял свою известительную бумагу о найме и просил подождать с приемом в рекруты его ребенка, портной написал жалостное письмо к одной из весьма известных тоже в свое время киевских патронесс. Это была баронесса Б., очень носившаяся с своею внешнею религиозностью. Хитрый жидок изложил ей различные невзгоды и гонения от общества, терпя которые, он дошел до такой крайности, что даже решился было сам поступить в рекруты, но тут его будто вдруг внезапно озарил новый свет: он вспомнил о благодеяниях, какие являют *высокие христиане* тем, которые идут к истинной «крещеной вере», и хочет креститься. А потому, если ему удастся бежать от сдатчика, то он скоро явится в Киев и просит немедленно скрыть его от гонителей – поместить в монастырь и как можно скорее окрестить. Если же ему не удастся бежать, то защитить его каким-нибудь другим образом и привести его «в крещеную веру», – о чем он и просил довести до сведения ее сиятельства княгини Ека-

терины Алексеевны, на апостольскую ревность которой он возверзал все свои надежды и молил ее утолить его жажду христианского просвещения.

Этого было слишком довольно: получив такое послание, дававшее баронессе повод побывать во многих местах и у многих лиц, к которым она находила отрадное удовольствие являться с своими апостольскими хлопотами, она сразу же заручилась самым энергическим участием княгини и могла действовать ее именем на всех тех особ, которым нельзя было давать прямых приказаний. О тех же, которым можно было приказывать, разумеется нечего было и заботиться.

Словом, в одно утро дело этого проходимца было улажено баронессою так, что жидку только стоило появиться к кому-нибудь из многих лиц, о нем предупрежденных, – и он спасен.

Лучше этого положения для него ничего нельзя было желать и придумать; а между тем, как мы уже знаем, сами обстоятельства так благоприятствовали этому затейнику, что он преблагополучно исполнил и вторую часть своей программы, то есть самым удобным образом сбежал от своего контрагента, заставил его напрасно провести целый день в тщетных поисках его по разным «заяздам» и другим углам Белой Церкви – этого самого безалаберного после Бердичева жидовского притона.

Пока совсем потерявшийся и обезумевший интролигатор явился в своих растрепанных чувствах в Киев, где вдобавок

не знал, к кому обратиться и где искать своего наемщика, тот под покровом самых лучших рекомендаций уже кушал монастырскую рыбку и отдыхал от понесенных треволнений в теплой келье у одного из иноков лавры, которому было поручено как можно неупустительнее приготовить его к святому крещению...

Интролигатор, сообщавший мне всю эту курьезную историю среди прерывавших его воплей и стонов, рассказывал и о том, как он разузнал, где теперь его «злодей»; рассказывал и о том, где он сколько роздал «грошей» мирянам и немирянам, – как он раз «ледви не утоп на Глыбочице», раз «ледви не сгорел» в лаврской хлебопекарне, в которую проник бог ведает каким способом. И все это было до крайности образно, живо, интересно и в одно и то же время и невыразимо трогательно и уморительно смешно, и даже трудно сказать – более смешно или более трогательно.

Однако, благодаря бога, ни у меня, сидевшего за столом, пред которым жалостно выл, метался и рвал на себе свои лохмотья и волосы этот интролигатор, ни у глядевших на него в растворенные двери чиновников не было охоты над ним смеяться.

Все мы, при всем нашем несчастном навыке к подобного рода горестям и мукам, казалось, были поражены страшным ужасом этого неистового страдания, вызвавшего у этого бедняка даже *кровавый пот*.

Да, эта вонючая сукровичная влага, которую была про-

питана рыхлая обертка поданных им мне бумаг и которою смердели все эти «документы», была не что иное, как *кровавый пот*, который я в этот единственный раз в моей жизни видел своими глазами на человеке. По мере того как этот, «ледеви не утопший и ледеви не сгоревший», худой, изнеможенный жид размерзлся и размокал в теплой комнате, его лоб, с прилипшими к нему мокрыми волосами, его скорченые, как бы судорожно теребившие свои лохмотья, руки и особенно обнажившаяся из-под разорванного лапсардака грудь, – все это было точно покрыто тонкими ссадинами, из которых, как клюквенный сок сквозь частую кисею, проступала и сочилась мелкими росистыми каплями красная влага... Это видеть ужасно!

Кто никогда не видал этого *кровавого пота*, а таких, я думаю, очень много, так как есть значительная доля людей, которые даже сомневаются в самой возможности такого явления, – тем я могу сказать, что я его *сам* видел и что это невыразимо *страшно*.

По крайней мере это росистое клюквенное пятно на предсердии до сих пор живо стоит в моих глазах, и мне кажется, будто я видел сквозь него отверзтое человеческое сердце, страдающее самую тяжкую муку – муку отца, стремящегося спасти своего ребенка... О, еще раз скажу: это ужасно!

Пышные белокурые волосы последней шотландской королевы, мгновенно поседевшие в короткое время, когда «дженгельмены делали ее туалет» и укладывали страдалицу на

плаху в большой зале Фодрайнгенского замка, не могли быть страшнее этого пота, которым потел этот отец, бившийся из-за спасения своего ребенка.

Я невольно вспомнил кровавый пот того, чья праведная кровь оброком праотцов низведена на чад отверженного рода, и собственная кровь моя прилила к моему сердцу и потом быстро отхлынула и зашумела в ушах.

Все мысли, все чувства мои точно что-то понесли, что-то потерпели в одно и то же время и мучительное и сладкое. Передо мною, казалось, стоял не просто человек, а какой-то кровавый, исторический символ.

Я тогда был не совсем чужд некоторого мистицизма, в котором, впрочем, не все склонен отвергать и поныне (ибо, – да простят мне ученые богословы, – я не знаю *веры*, совершенно свободной от своего рода мистицизма). И не знаю я, под влиянием ли этого «веяния» или по чему другому, но только в эти минуты в моей усталой голове, оторванной от лучших мыслей, в которых я прожил мое отрочество, и теперь привлеченной к занятиям, которые были мне не свойственны и противны, произошло что-то, почти, могу сказать, таинственное, или по крайней мере мне совсем непонятное. Эта история, в которой мелкое и мошенническое так перемешивалось с драматизмом родительской любви и вопроса-ми религии; эта суровая казенная обстановка огромной полутемной комнаты, каждый кирпич которой, наверно, можно было бы размочить в пролившихся здесь родительских и

детских слезах; эти две свечи, горевшие, как горели там, в том гнусном суде, где они заменяли свидетелей; этот ветхозаветный семитический тип искаженного муками лица, как бы напоминавший все племя мучителей праведника, и этот зов, этот вопль «Иешу! Иешу Ганоцри, отдай мне его, парха!» – все это потрясло меня до глубины души... я, кажется, мог бы сказать даже – до своего рода отрешения от действительности и потери сознания... Вправду, сколько могу помнить, это было одно из тех неопределенных состояний, которые с такою ясностью и мастерством описывает епископ Феофан в своих превосходных «Письмах о духовной жизни». Самые размышления мои с этих пор стали чем-то вроде тех «предстояний ума в сердце», о которых говорит приведенный мною достопочтенный автор. Отчаянный отец с вырывающимся наружу окровавленным сердцем, человек – из племени, принявшего на себя кровь того, которого он зовет «Иешу»... Кто его разберет, какой дух в нем качественно, заставляя его звать и жаловаться «Ганоцри»?

Мои наэлектризованные нервы так работали, что мне стало казаться, будто в этой казенной камере делается что-то совсем не казенное. Ужо не услышал ли *Он* этот вопль сына своих врагов, не увидал ли *Он* его растерзанное сердце и... не идет ли *Он* взять на свое святое рамо эту несчастную овцу, может быть невзначай проблеявшую его имя.

И я вдруг забыл, что мой плотский ум надумал было сказать этому еврею; а я хотел сказать ему вот что: чтобы и он и

его сын сделали то же самое, что сделал их коварный наемщик, то есть чтобы и они просили себе крещения. Взаправду, чту им мешало к этому обратиться, тем более что этот отец, призывающий и «Иешу Ганоцри», во всяком случае ближе ходил от сына божия, чем тот проказник, который взялся на глазах у всех сплутовать верою.

Чту бы из этого вышло, если бы еврей принял мою мысль; какая задача явилась бы административной практике, какой казус для законников и... какой соблазн для искренних читателей святой веры!

А иного способа я не видел для их спасения, конечно потому, что забывал о том, чья мера шире вселенной и чьи все суды благи.

Мне в голову не приходило, что, может быть, после слов моих вышло бы совсем не то, чего мог ждать я, – может быть, этот жид, зовущий теперь «Ганоцри», услышав мое слово, ударился бы в другую крайность отчаяния и стал бы порицать имя, теперь им призываемое, и издеваться над тем приспособлением, которое давало вере мое ребяческое легкомыслие.

Да, ничего этого не было в моей голове, но зато ее посетило забвение. Память вдруг отяжелела, как окунутая в воду птица, и не хотела летать ни по каким верхам, а спряталась в какую-то густую тишь – и я не сказал опрометчивого слова, которое уже шевелилось у меня на устах, и всегда радуюсь, что этого не сказал. Иначе я поступил бы дурно, и это, веро-

ятно, лишило бы меня самого отраднейшего случая видеть одно из удивительных проявлений промысла божия, среди полнейшей немощи человеческой.

IX

«Ум в сердце» велел мне просто-напросто молчать и отойти от этого расщепленного грозюю страдания пня, которому возрастить жизнь мог разве только сам начальник жизни.

И как он возвратил ему ее! В каком благоуханном цвету, с какой дивной силой прелести христианского бытия! Но все это было после, – гораздо, гораздо после, при обстоятельствах, о которых и не воображалось в эту минуту, которую я описываю. Тогда мне стало только сдаваться, что все это, чем мы здесь волновались, будет совсем не так, как я думаю. «Ум в сердце» успокоительно внушал, что это уже решено как сделать и что для того, дабы решенное свершилось всего благопристойнее, теперь ничего своего не уставлять, а делать то, что будет указано. Всего более нужно тишины и тишины; чтобы соблюсти эту потребность в тишине, которая беспрестанно угрожала снова разразиться стоном, воплями и шумной расправой с обезумевшим евреем, я, не говоря никому ни слова, встал, молча вышел в переднюю, молча надел шубу и поскорее уехал.

Пожалуй, иному это может показаться эгоистической уверткой, – лишь бы не видать расправы с жидом, с которым в мое отсутствие наверно станут расправляться еще бесцеремоннее; но, поистине, меня водили совсем не эти соображения. Почему мне казалось за наилучшее поступить таким

образом – я не знаю; но вышло, что это действительно было самое наилучшее, что только я мог сделать.

Помню как сейчас эту морозную и ясную ночь с высоко стоявшим на киевском небе месяцем. Красивый и тогда еще довольно патриархальный город, не знавший до генерал-губернаторства Н. Н. Анненкова ни «шатодефлёров», ни других всеночных гульбищ, уже затих и спал: с высокой колокольни лавры гудел ее приятный звон к заутрене. Значит, была полночь. Моя прозябшая рыженькая лошадка неслась быстро, так что молодой кучеренок Матвей, из своих орловских крепостных, едва мог держать озябшими руками туго натянутые вожжи, и тут вдруг на повороте у «царского сада» что-то мелькнуло – человек не человек и собака как будто не собака, а что-то такое, от чего моя немного пугливая лошадь шарахнулась в сторону и мы с кучером оба чуть не вылетели из санок.

И с этих пор это «что-то» так и пошло мелькать и шмыгать то за мною, то передо мною: то исчезнет где-то в тени, то опять неожиданно выскочит на повороте, перебежит освещенную луною улицу и опять испугает лошадь, которая уже начала беситься и еще несколько раз нас чуть не выкинула. Понять нельзя, что это за нежить мечется, и в заключение, только что я остановился у подъезда моей квартиры, близ церкви св. Андрея, – это «оно», эта нежить опять словно тут и была... Но что же это такое? – А это был опять *он*, опять мой интролигатор, и в том же самом растерзанном виде, и

с тем же кровавым потом на голой холодной груди... Ему, верно, не было холодно, сердце насквозь горело.

Он теперь не кричал и не охал, а только не отставал от меня, точно моя тень, и, как вы видите, не уступал даже для этого в быстроте моей лошади.

Куда его было деть? Прогнать – жестоко; пустить к себе?.. Но какой в этом смысл? Ведь уже сказано, что я ему ничего не мог сделать, а он только надоест... И притом – я, к стыду моему, был немножечко брезглив, а от него так противно пахло этим кровавым потом.

Я так и не решил, что сделать, – вошел в переднюю, а он за мною; я в кабинет, – а он сюда по пятам за мною... Видно, сюда ему был указан путь, и я ему уже решил не мешать: мне вздумалось велеть напоить его чаем и потом отослать его спать на кухню; но прежде чем я успел сказать об этом моему человеку, тот начал мне сообщать, что ко мне заходил и мне оставил записку Андрей Иванович Друкарт, один из весьма почтенных и деловых людей генерал-губернаторского управления. Он состоял тогда чиновником особых поручений при князе Васильчикове и очень недавно скончался в должности седлецкого вице-губернатора, по которой принимал участие при окончательном уничтожении унии.

Помимо служебной деловитости, Друкарт в те годы нашей жизни был превосходный чтец в драматическом роде и даровитейший актер. Я не слышал никого, кто бы читал шекспировского Гамлета лучше, как читывал его Друкарт, а го-

голевского городничего в «Ревизоре» он исполнял, кажется, не хуже покойного Ив. Ив. Сосницкого в наилучшую пору развития сценических сил этого артиста.

Благодаря такого рода талантливости, покойный Друкарт исполнял не только поручения князя, но имел временные порученности и от всевластной у нас княгини. А княгине как раз в эту пору нужны были деньги для каких-то ее благотворительных целей, и она поручила Друкарту устроить в городском театре спектакль в пользу бедных.

Я тоже всегда читал, по общему мнению, довольно недурно и был удовлетворительным актером; а потому при смете сценических сил, которые должен был сгруппировать и распределить Друкарт, явился и я на счету.

Друкарт писал мне, что так как я и бывший тогда в Киеве стряпчим г. Юров – оба одного роста и друг с другом схожи, то мы «непременно должны» играть в предстоящем спектакле Добчинского и Бобчинского.

При моей тогдашней усталости и недосуге это было просто напасть, и я, с негодованием отбросив письмо моего доброго приятеля, решил в уме «стать завтра как можно пораньше и прежде присутствия заехать в канцелярию генерал-губернатора к Друкарту, с тем чтобы урезонить его освободить меня от затевавшегося спектакля.

В этом размышлении, хлебнув глоток из поданного мне стакана горячего чаю, я снова вспомнил о своем несчастном жиде, и очень удивился, что его уже не вижу. А он, бедняк,

тем временем уже спал, свернувшись кольцом на раскинутой между шкафом и дверью козьей шкуре, на которой обыкновенно спала моя охотничья собака. Они лежали оба рядом, и довольно строгий пес, вообще не любивший жидов, на этот раз как будто нашел нужным изменить свои отношения к этому племени. Он как будто чувствовал своим инстинктом, что возле него приютилось само горемычное горе, которое нельзя отгонять.

Я был доволен и жидом и собакой и оставил их делить до утра одну подстилку, а сам лег в мою постель в состоянии усталости от впечатлений, которых было немилосердно много: жид-наемщик, белоцерковский стол, лавра, митрополит, дикие стоны и вопли, имя Иешу, молчаливый князь и настойчивая княгиня с ее всевластным значением, мой двойник стряпчий Юров и Бобчинский с Добчинским; необходимость и невозможность от всего этого отбиться, и вдруг... какое-то тихое предсонное воспоминание о моей старой няне, болгарке Марине, которую все почему-то называли „туркинею“ ... И она всех пересиливает: стоит надо мною, трясет старушечьим повойником да ласково шепчет: „Спи, дитя, спи: Христос пристанет и пастыря приставит“ ... И вообразите себе, что ведь все это было кстати. – Да; все это, что представляло такой пестрый и нескладный сбор понятий, оказалось нужным, – во всем этом будничном хаосе были все необходимые элементы для того, чтобы устроился удивительно праздничный случай, который по его неожиданно-

сти и маловероятности мне так и хочется назвать *чудесным*.

Мы с интролигатором отсыпались перед такою неравною и опасною битвою, от которой всякий рассудительный человек непременно бы заранее отказался, если бы нам не было даровано благодетельное неведение грядущего.

Х

Утро, которое должно было показать себя мудренее вчерашнего вечера, вошло в свои урочные часы, в светлости, достойной какого-нибудь более торжественного события. Это было одно из тех прекрасных украинских утр, когда солнышко с удивительной и почти неизвестной в северной полосе силою пробует власть свою над морозцем. Ночь всю держит стужа, и к рассвету она даже еще более злится и грозит днем самым суровым, но чуть лишь Феб выкатит на небо в своей яркой колеснице, – все страхи и никнут: небо горит розовыми тонами, в воздухе так все и заливаает нежная, ласкающая мягкость, снег на освещенных сторонах кровель под угревом улетает как пар. Картина тогда напоминает бледную двуличневую материю с ярким отливом. В то самое время как теневая сторона улиц и зданий вся покрыта оледенелой корою, другая – обогретая солнцем – тает; кровли блестят и дымятся испаряющеюся влагой; звучно стучат, падая сверху и снова в тени замерзая внизу, капли; и воробьев – этих проворных, живых и до азарта страстных к заявлению своего жизнелюбия птичек вдруг появляется такая бездна, что можно удивляться: откуда они берутся? Еще вчера они совсем не были заметны и вдруг, точно мошки в погожий вечер, сразу явились повсюду. Их веселым крикливым чириканьем полон весь воздух; они порхают, гоняясь один за

другим по оттаявшим ветвям деревьев, и сыпят вниз иней с тех мерзлых веток, которые остаются в своем серебристом зимнем уборе. Где ни проталина, там целый клуб этой крикливой и шумной пернатой дребезги, но всего больше их на обогретых сторонах золоченых крыш храмов и колоколен, где всего ярче горит и отражается солнце. Тут заводится целое интернациональное птичье собрание: по карнизам, распушив хвосты и раскидывая попеременно то одно, то другое крылышко, полулежат в приятном *far niente*⁸ задумчивые голуби, расхаживают степенные галки и целыми летучими отрядами порхают и носятся с места на место воробьи.

Словом, оживление большое. Начинаясь в высших, воздушных слоях, оно не оказывается бессильным и ниже: и животные и люди – все под этим оживляющим угревом становятся веселее: легче дышат и вообще лучше себя чувствуют. Знаменитый оксфордский бишоф Жозеф Галл, имевший усердие и досуг выражать „внезапные размышления при вззрении на всякий предмет“ и проповедовавший даже „во время лаяния собаки“ (изд. 1786 г., стр. 38), совершенно справедливо сказал (35): „Прекрасная вещь свет, – любезная и свойственная душам человеческим: в нем все принимает новую жизнь и *мы сами в нем переменяемся*“, – и, конечно, к лучшему.

Теплые лучи, освещая и согревая тело, как будто снимают суровость с души, дают усиленную ясность уму и ту приуго-

⁸ Безделье (*итал.*).

товительную теплоту сердцу, при которой человек становится чутче к призывам добра. Согретый и освещенный, он как бы гнушается темноты и холода сердца и сам готов осветить и согреть в сумрачной тени зимы цепенеющего брата.

Таких очаровательных теплых дней, совершенно неожиданно прорывающихся среди зимней стужи, я нигде не видал, кроме нашей Украины, и преимущественно в самом Киеве. Севернее, над Окою, и вообще, так сказать, в черноземном клину русского поля, что-то подобное бывает ближе к весне, около Благовещения, но это совсем иное. То – естественное явление поворота солнца на лето; а это – почти что-то феноменальное, – это какой-то каприз, шалость, заигрывание, атмосферная шутка с землею – и земля очень весело на нее улыбается: в людях больше мира и благоволения.

Встав в такое благоприятное утро, я прежде всего осведомился у моего слуги о жиде, и к немалому своему удивлению узнал, что его уже нет в моей квартире, – что он еще на самом рассвете встал и начал царапаться в коридор, где мой человек разводил самовар. Из этого самовара он нацедил себе стакан горячей воды, выпил его с кусочком сахара, который нашел у себя в кармане, и побежал.

Куда он побежал? – об этом мой слуга ничего не знал, а на вопрос, в каком этот бедняк был состоянии, отвечал:

– Ничего, – спокойнее, – только все потихоньку квохтал, как пчелиная матка, да в сердке точно у него все нутро на резине дергается.

Я напился чаю и, не теряя времени, поехал к Друкарту, который жил тогда в низеньких антресолях над флигелем, где помещалась канцелярия генерал-губернатора, в Липках, как раз насупротив генерал-губернаторского дома.

У меня и в мыслях не было говорить с Друкартом об интролигаторе, потому что это, казалось, не имело никакого смысла, и притом же покойный Андрей Иванович хотя и отличался прямою добротою, но он был также человек очень осторожный и не любил вмешиваться в дела, ему посторонние. А притом же я, к немалому стыду моему, в это время уже почти позабыл о жиде и больше думал о себе, но судьбе было угодно поправить мою эгоистическую рассеянность и поставить на точку вида то, о чем всего пристойнее и всего нужнее было думать и заботиться.

XI

Я должен был проехать по переулку, который идет к генерал-губернаторскому дому от городского, или „царского“, сада; здесь тогда был очень старый и весьма запущенный (не знаю, существующий ли теперь) дом, принадлежавший графам Браницким. Дом этот, одноэтажный, длинный, как фабрика, и приземистый, как старопольский шляхетский будинок, имел ту особенность, что он был выстроен по спуску, отчего один его конец лежал чуть ли не на самой земле, тогда как другой, выравниваясь по горизонтальной линии, высоко поднимался на какой-то насыпи, над которою было что-то вроде карниза.

Все это, как сейчас увидим, имеет свое место и значение в нашей истории.

Из семейства графов никто в этом доме не жил. Были, может быть, в нем какие-нибудь апартаменты для их приезда, – я этого не знаю, но там в одном из флигелей жил постоянно какой-то „пленипотент“ Браницких, тоже, разумеется, „пан“, у которого была собака, кажется убудок из породы буль-догов. Этот пес имел довольно необыкновенную – пеструю, совершенно тигровую рубашку и любил в погожие дни лежать на гребне той высокой завалины, по которой выравнилась над косогором линия дома, и любоваться открывавшимся оттуда зрелищем. Этот наблюдатель был многим известен,

и кто, бывало, заметит его издали, тот почтительно перейдет поскорее на другую сторону, а кто идет прямо у самого дома, тот этой собаки или вовсе не заметит, а если взглянет и увидит его над самую свою голову, то испугается и пошлет его владельцу более или менее хорошо оснащенное крылатое слово.

В тот день, который я описываю, пленипотентов полосатый пес был на своем возвышенном месте и любовался природою. Я его не заметил или не обратил на него внимания, во-первых, потому, что знал его, а во-вторых, потому, что как раз в это самое время увидел на противоположном тротуаре Друкарта и сошел, чтобы поговорить с ним о моих недосугах, мешавших моему участию в спектакле.

Андрей Иванович был сверх обыкновения весел: он говорил, что обязан этим расположением духа необыкновенно хорошей погоде, и рассказал мне при этом анекдот – как хорошо она действует на душу.

– Я, – говорит, – спешу кончить следствие и нынче рано вызвал к допросу убийцу и говорил с ним, а сам в это время брился и потом шутя спрашиваю его: отчего он столько человек порезал, а меня не хотел зарезать моею же бритвою? – А он отвечает: „Не знаю: нонче мне что-то рук кровянить не хочется“.

И только что мы этак переболтнули, как вдруг раздался ужасающий вопль: „Уй-уй... каркадыль!“ и в ту же самую минуту на нас бросился и начал между нами тереться...

опять *он* же – мой интролигатор.

Откуда он несся и куда стремился, попав по пути под „крокодила“, я тогда не знал, но вид его, в боренье с новым страхом, был еще жалостнее и еще смешнее. При всем большом жидовском чинопочитании, он в ужасе лез под старую, изношенную енотовую шубу Друкарта, которую тот сам называл „шубою из енотовых пяток“, и, вертя ее за подол, точно играл в кошку и мышку.

Мы оба расхохотались, а он все метался и кричал: „каркадыль! каркадыль!“ и метал отчаянные взоры на бульдога, который, нимало не беспокоясь, продолжал спокойно взирать на нас с своего возвышения.

Успокоить жида было невозможно, но зато это дало мне повод рассказать Друкарту, чту это за несчастное создание и в чем состоит его горе.

Повторяю, Друкарт был человек чрезвычайно добрый и чувствительный, хотя это очень многим казалось невероятным, потому что Друкарт был рыжеволос, а рыжеволосых, как известно, добрыми не считают. (Это так же основательно и неоспоримо, как странная примета, будто бритвы с белыми черешками острее, чем с черными, но возражать против этого все-таки напрасно.) Притом же Друкарт находился, как я сказал, в необычайно хорошем расположении духа, которое еще усилилось происшествием с крокодиллом и перешло в совершенное благодущие.

Живая сострадательность взяла верх над его осторожною

системою невмешательства, и он сказал мне потихоньку:

– Ишь какая мерзость устроена над этим каркадылом.

– Да, – отвечаю, – мерзость такая ужасная, что ему нельзя ничем и помочь.

Друкарт задвигал своим умным морщинистым лбом и говорит:

– А давайте попробуем.

– Да что же можно сделать?

– А вот попробуем... Иди за нами, каркадыль!

Но этого не надо было и говорить: интролигатор и так не отставал от нас и все забегал вперед, оглядываясь: не оставил ли крокодил своего забора и не идет ли его проглотить, чего жид, по-видимому, страшно боялся, – не знаю, более за себя самого или за сына, у которого в его особе крокодил мог взять единственного защитника.

Говорят: „чем люди оказываются во время испуга, то они действительно и есть“, – испуг – это *промежуток* между навыками человека, и в этом промежутке; можно видеть *натуру*, какую она есть. Судя так, интролигатора в этот промежуток можно бы, пожалуй, почесть более за жизнелюбца, чем за чадолюбца; но пока еще не изобретен способ утверждения Момусова стекла в человеческой груди, до тех пор все подобные решения, мне кажется, могут быть очень ошибочными, и, к счастью, они ни одному из нас не приходили в голову.

У Андрея Ивановича явился план действовать на кня-

зя Иллариона Илларионовича – план, в котором я не видел никакой пользы и старался его отвергнуть, как совершенно неудобноисполнимый и бесполезный.

XII

Я держался такого взгляда на основании общеизвестной флегматической вялости характера князя, человека натуры весьма благородной и доброй, но, к сожалению многих, не являвшей той энергии, которой от него порою очень хотелось. Но Друкарт знал князя лучше и стоял на своем.

– Не думайте, – настаивал он, – князь – добряк, и ему только надо это как должно представить. Он не сокол, – сразу оком не прожжет, зато и крылом не обрежет, а все начнет только у себя в сердце долбить и как раз выковыряет оттуда то, что на потребу, и тогда своего „*доброего мальчика*“ пустит.

Надо объяснить, что такое у нас в Киеве и еще ранее здесь, в Петербурге, называли „*добрый мальчиком*“ добрейшего из людей князя Иллариона Илларионовича, и для этого надо сказать кое-что о всей его физической и духовной природе.

Он был человек большого роста, с наружностью сколько представительною, столько же и симпатичною. Преобладающею его чертою была доброта, но какая-то скорее пассивная, чем активная. Казалось, он очень бы желал, чтобы всем было хорошо, но только не знал, что для этого сделать, и потому более об этом не беспокоился... до случая. Физиономия его хранила тихое спокойствие его доброй совести и пребывала в постоянной неподвижности; и эта неподвижность оставалась такою же и тогда, если его что-нибудь особенно брало за

сердце, но только в этих последних случаях *что-то* начинало поднимать вверх и оттопыривать его верхнюю губу и усы. Это *что-то* и называлось „*добрый мальчик*“, который будто бы являлся к услугам князя, для того чтобы не затруднять его нужными при разговоре движениями.

Речи князя были всегда сколь редки, столь и немногословны, хотя при всем этом их никак нельзя было назвать краткими и лаконическими. В них именно почти всегда недоставало законченности, и притом они отличались совершенно своеобразным построением. По способу их изложения я могу им отыскать некоторое подобие только в речах, которые произносил незнакомец, описанный Диккенсом в „Записках Пиквикского клуба“.

Оригинальный сопутник нежного Топмена, как известно, говорил так:

– Случилось... пять человек детей... мать... высокая женщина... все ела селедки... забыла... три... дети глядят», она без головы... осиротели... очень жалко.

Как надо было иметь особый навык, чтобы понимать этого оратора, так была потребна сноровка, чтобы резюмировать и словесные выводы и заключения князя. Но по самому характеру героя Диккенсова надо полагать, что этот путешественник говорил часто и скороговоркою, между тем как наш неспешный добросердечный князь всегда говаривал повадно, с оттяжечкой, так, чтобы *добрый мальчик* успевал управляться под его молодецкими усами. Притом же он, го-

воря по-русски, как барич начала девятнадцатого века, оснащал свою речь избранным простонародным словом, которое у него было «стало быть» или иногда просто «стало». На этом «стало» порою все и становилось, но целостность впечатления от этого нимало не страдала, а напротив, к всеобщему удивлению, даже как будто выигрывала. Это «стало» было в своем роде то же, что удивляющая теперь петербургских меломанов оборванная нота в новой опере «Маккавей»: ее внезапный обрыв красивее и понятнее, чем самая широкая законченность по всем правилам искусства.

– Сделайте... стало... – говорил князь, отмахивая слегка рукою, и искусные в разумении его люди знали, что им делать, и выходило хорошо, хорошо потому, что все знали, что он думал и чувствовал только *хорошо*.

Во множестве случаев это было прекрасно, но я не мог себе представить – к чему это поведет в том казусном случае, о котором идет дело? Против интролигатора и за его обидчика были, во-первых, прямые законные постановления, а во-вторых – княгиня, значение которой было, к сожалению, слишком неоспоримо. Что же постановит против этого княжеское «стало», да и что ему тут делать?

Известно, что, дабы чего-нибудь достичь, надо прежде всего ясно сознать: чего желаешь и какими путями хочешь стремиться к осуществлению этого желания. Но у нас ни у одного из трех, кажется, не было никакого ясного плана: чего именно мы хотели для спасения нашего интролигатора и в

какой форме. Мы только чувствовали желание помочь ему, и один из нас двух расширил свои соображения настолько, что видел полезным разжалобить добросердечного князя, возлагая надежду на изобретательность его сердца, которое начнет что-то «долбить» и что-то «выковыривать», как раз то, что нужно.

Друкарт был в этом уверен, а я нисколько, и зато впоследствии имел радостный случай воскликнуть: «Блажен кто верует, – тепло ему на свете!»

XIII

Оставив моего многострадального еврея под опекою его нового покровителя, я отправился к своему месту и занялся своим делом.

Здесь не излишним считаю сказать, что ни в ком из лиц, о которых мне здесь приходится говорить (разумеется, кроме еврея), не было ни одного вероотступника или индифферента по отношению к вере. Что касается князя Иллариона Илларионовича, то его религиозные убеждения мне, конечно, близко неизвестны, но я думаю, что он был православен не меньше, чем всякий православный русский сановник, – а может быть, даже немножко и больше некоторых. Простая, прямая и теплая душа его искала опоры в вере народной, народной которой для русского человека – нет, как наше родное православие, во всей неприкосновенной чистоте и здравости его учения. Друкарт, *русский уроженец* литовских губерний, имел сугубую страстность к православию, которое было для него не только верою, но и своего рода духовным знаменем русской народности. Я вырос в своей родной дворянской семье, в г. Орле, при отце, человеке очень умном, много начитанном и знатоке богословия, и при матери, очень богобоязненной и богомольной; научился я религии у лучшего и в свое время известнейшего из законоучителей о. Евфимия Андреевича Остромысленского, за добрые уроки которого

всегда ему признателен. Шаткости религиозной о кружках, в которых я тогда в Киеве вращался, совсем не было, и я был таким, каким я был, обучаясь православно мыслить от моего родного отца и от моего превосходного законоучителя – который до сих пор, слава богу, жив и здоров. (Да примет он издали отсюда мною посылаемый ему низкий поклон.) Словом: никого из нас нельзя было заподозреть ни в малейшем недоброжелательстве церкви, к которой мы принадлежали и по рождению и по убеждениям, и, вероятно, никто из нас не нашел бы никакого удовольствия отвести от церкви невера, который бы возжелал с нею соединиться; а между тем все мы это сделали с полным спокойствием, которое получило на себя санкцию от лица, авторитет которого я, как православный, считаю непререкаемым в этом деле.

Теперь я буду продолжать рассказ: как поступили в этом случае люди, имевшие предо мною все несравнимые преимущества в старшинстве лет, в опыте, в познаниях и в том превосходном *дерзновении веры*, которое сечет и рубит мелкий страх шаткости маловерного сомнения.

XIV

Я буду краток в описании аудиенции, которую злополучный интролигатор имел у князя, потому что я сам тут не присутствовал и веду рассказ с чужих слов.

Благодаря Друкарту бедняк, разумеется, был поставлен так удобно, что князь, выйдя к приему прошений, мог обратиться на него внимание – что и случилось.

– Что... это... стало... какой человек... зачем так плачет... Узнайте! – сказал князь Друкарту, который на этот раз был с ним у приема.

Тот взял просьбу и, разумеется, зная уже дело, взглянул в нее только для порядка. В ней, впрочем, и нечего было искать изложения дела, потому что простая и никакой власти не подсудная суть его исчезала в описании страданий самого интролигатора от людей, от стихии и, наконец, от крокодила, который тоже был занесен в эту скорбную запись.

Оставалось свернуть это сочинение и изложить князю на словах, в чем дело.

Друкарт это и исполнил, и, как человек очень теплый, умный и талантливый, сделал, вероятно, так хорошо, что князь сразу тронулся: брови его слегка нахмурились, и «*добрый мальчик*» под усами задвигал.

– Это что же... это, стало быть... плутовство, – заговорил князь. – Это... так... э... нельзя позволять.

Чиновник кратко, но обстоятельно указал ему на закон.

Князь еще более нахмурился, и «*добрый, мальчик*» было ушел, но потом спови вернулся.

– Да... закон, так... стало быть... нельзя.

Чиновник промолчал, – князь продолжал принимать другие просьбы, – жид выл, и когда ему кричали «тсс!», он на минуту умолкал и только продолжал вздрагивать, как протернутый на резинку, но через минуту завывал наново, без слов, без просьб – одними звуками.

Князя стало брать за душу.

– Велите... стало... ему молчать и... вывести, – сказал он, как будто очень рассердясь, чтт у него всегда служило превосходным признаком, потому что, дав в себе хотя малейшее движение гневу, он по бесподобной доброте своей души непременно сейчас же подчинялся реакции и всемерно, как мог, выискивал средства задобрить свое нетерпеливое движение.

Здесь же этой реакции надо было ожидать еще скорее, потому что и самое приказание «молчать и вывести» он, очевидно, дал от досады, что не видал возможности сделать того, что хотел бы сделать.

Надо было ожидать, что все это у него пока *надалбывается* в сердце и он бурлит, пока не достал, не добыл еще того, что нужно; но зато чем он больше этим кипит и мучится в превосходной доброте своей, тем скорее он разыщет там у себя, что нужно, и решится на то, что, может быть, сам пока

еще считает совершенно невозможным.

Это так и вышло: чуть жид от страха замолк и два жандарма повели его за локти из приемной, «мальчик» под усами князя зашевелился.

– Тише... скажите... это... – заговорил он, – не надо...

К чему относилось это «не надо» – осталось неизвестным, но понято было хорошо; жида вывели, но не прогнали, и он сел и продолжал дергаться на своей нутренной резинке; а князь быстро окончил прием и во все это время казался недоволен и огорчен; и, отпустив просителей, не пошел в свой кабинет, который был прямо против входных дверей приемного зала, а вышел в маленькую боковую зеленую комнату, направо.

Комната эта выходила окнами на двор и служила князю для особых объяснений с теми лицами, с которыми он считал нужным поговорить наедине.

Он походил здесь один несколько минут и потребовал Друкарта.

– Жалко!.. – произнес он, увидя чиновника.

– Очень жалко, ваше сиятельство, – отвечал всегда с отличным спокойствием и достоинством державший себя Друкарт.

– Пфу... какая штука!.. Совсем плут...

– Очевидно, бездельник, – было ответом человека, который понимал, к кому это относится, то есть к интролигатору наемщику, пожелавшему креститься.

– Ив законе этого... стало... нет?

– Нет, там нет исключения – в какое время объявить желание: это все равно.

– Взял деньги... го... плут... Это... стало... какая... тут вера!

– Вера – один предлог.

– Разумеется... но я... закон... ничего... стало быть... не могу... идите!

И он с очевидным томлением духа выпустил Друкарта, но тот не успел еще дойти до передней, как князь достукался того, что ему было нужно, и, живо размахнув дверь, сам крикнул повеселевшим голосом:

– А... Друкарт!

Тот вернулся.

– Теперь... того... как оно... вот как: и этого жиды взять... в сани... и поезжайте... с ним... сейчас прямо... к митрополиту... Он добрый старик... пусть посмотрит... всё расскажите... И от меня... кланяйтесь... и скажите, что жалко... а ничего не могу... как закон... Хорошенько... это понимаете.

– Слушаю-с.

– Да... что не могу... Очень, стало быть, хотел бы... да не могу... а он очень добрый... понимаете...

– Очень добрый, ваше сиятельство.

– Так ейю... я это предоставляю... и сам не вмешиваюсь, а... только очень его... прошу... потому... если ему тоже жаль... он как там знает... Может быть... просите и... потом

мне скажете.

Князь dokonчил свою речь уже более живым и веселым тоном, сделал решительный взмах рукою, повернулся и, гораздо повеселев, пошел в свои внутренние покои; но, наверно, не за тем, чтобы спешить рассказать о своем распоряжении в апартаментах княгини.

Командированный князем чиновник взял жида и покотил с ним в лавру, а я получил с рассыльным клочок бумажки с сделанною наскоро карандашом надписью: «Задержите ставку, – едем к митрополиту».

XV

Ставку на два-три часа задержать было возможно, и я это сделал; но к чему все это могло повести?

Наши иерархи и вообще люди «духовного чина», как называет их в своем замечательном «Словаре» покойный митрополит киевский Евгений Болховитинов, к несчастью для общества, почти совсем ему неизвестны с их самых лучших сторон. Долженствуя стоять на самом свету, в виду у всех, они между тем почти совершенно «проходят в тених»; известные при жизни с одной чисто официальной, служебной своей стороны, они не получают более полного и интересного освещения даже и после смерти. Их некрологи, как недавно справедливо замечено по поводу кончины бывшего архиепископа тобольского Варлаама, составляют или сухой и жалкий перифраз их формулярных послужных списков, или – что еще хуже – дают жалкий набор общих фраз, в которых, пожалуй, можно заметить много усердия панегиристов, но зато и совершенное отсутствие в них наблюдательности и понимания того, что в жизни человека, сотканной из ежедневных мелочей, может репрезентовать его ум, характер, взгляд и образ мыслей, – словом, что может показать человека с его интереснейшей внутренней, духовной стороны, в простых житейских проявлениях. Насколько превосходят нас в этом протестанты и католики, об этом и говорить стыд-

но: меж тем как там мало-мальски замечательного духовного лица если не заживо, то тотчас после смерти знают во всех его замечательных чертах, – мы до сих пор не имеем живого очерка даже таких лиц, как митрополит Филарет Дроздов и архиепископ Иннокентий Борисов.

Может быть, это так нужно? – не знаю; но не в моей власти не сомневаться, чтобы это было для чего-нибудь так нужно, – разве кроме той обособленности пастырей от пасомых, которая не служит и не может служить в пользу церкви.

Если благочестивая мысль весьма видных представителей богословской науки пришла к сознанию необходимости – знакомить людей с жизнью самого нашего господина Иисуса Христа со стороны *его человечности*, которая так высока, поучительна и прекрасна, рассматриваемая в связи с его божеством, и если этому пути следуют нынче уже и русские ученые (как, например, покойный киевский профессор К. И. Скворцов), то не странно ли чуждаться ознакомления общества с его иерархами как с живыми людьми, имевшими свои добродетели и свои недостатки, свои подвиги и свои немощи и, в общем, может быть представляющими гораздо более утешительного и хорошего, чем распространяют о них в глухой молве, а ей-то и внемлет толпа чрез свои мидасовы уши...

Одно духовное издание недавно откровенно изъяснилось: отчего это происходит? – «от совершенного неумения большинства людей из духовенства писать сколько-нибудь жи-

во».

Я думаю, что это правда, и, – насколько во мне может быть допущено литературного понимания, – я это утверждаю и весьма об этом соболезнаю. Это *скрывает* от общества много хорошего из нравов нашего клира.

Почти мимовольно вырвавшиеся выше строки, которые я тем не менее желаю здесь оставить, потому что считаю их сказанными нечаянно, но кстати, не должны, однако же, быть истолкованы в таком претензионном смысле, как будто я хочу или могу пополнить чем-нибудь замеченный мною печальный пробел в нашей духовной журналистике, – доселе еще бедной живым элементом и терпящей вполне достойное и заслуженное ею безучастие общества за свой сухой, чисто отвлеченный тон и *неинтересный* характер.

Вышесказанной претензии у меня нет, да и она, по правде сказать, ни на что не нужна мне. Слабому перу моему довольно работы и без этого; но доходя в этом рассказе до встречи с покойным митрополитом Филаретом Амфитеатовым, я должен сказать, каким он мне представлялся со стороны его *общечеловечности*, до которой мне, собственно, только и было теперь дело.

XVI

Еще ребенком у себя в Орловской губернии, откуда покойный митрополит был родом и потому в более тесном смысле был моим «земляком», я слышал о нем как о человеке доброты бесконечной. Я знал напасти и гонения, которые он терпел до занятия митрополичьей кафедры, – гонения, которые могли бы дать превосходнейший материал для самой живой и интересной характеристики многих лиц и их времени.

Во всех этих рассказах митрополит Филарет являлся скромным и терпеливым, кротким и миролюбивым человеком – не более.

Активной доброты его, о которой говорили в общих чертах, я не знал ни в одном частном проявлении.

О последнем выезде его из Петербурга, куда он более уже не возвращался, носились слухи тоже самые общие, и то дававшие во всем первое место и значение митрополиту московскому, – да это мне и не нужно было для того, чтобы построить свою догадку о том, как он отнесется к известному казусу?

В Киеве я услышал ему первые осуждения за его отношения к покойному о. Герасиму Павскому и разделял мнения осуждавших.

Лично я его увидел в первый раз в доме председателя ка-

зенной палаты Я. И. П., где он мне показался очень странным. Во-первых, когда все мы, хозяева и гости, встретили его в зале (в доме П. на Михайловской улице), он благословил всех нас, подошедших к нему за благословением, и потом, заметив остававшуюся у стола молодую девушку, бывшую в этом доме гувернанткой, он посмотрел на нее и, не трогаясь ни шагу далее, проговорил:

– Ну, а вы что же?

Девушка сделала ему почтительный глубокий реверанс и тоже осталась на прежнем месте.

– Что же... подойдите! – позвал митрополит.

Но в это время к нему подошел хозяин и тихо шепнул:

– Ваше высокопреосвященство, – она протестантка.

– А?.. ну что же такое, что протестантка: ведь не жидовка же (sic⁹).

– Нет, владыка, – протестантка.

– Ну, а протестантка, так поди сюда, дитя, поди, девушка, поди: вот так: Господь тебя благослови: во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

И он ее благословил, и когда она, видимо сильно растрогавшись, хотела по нашему примеру поцеловать его руку, он погладил ее по голове и сказал:

– Умница!

Девушка так растрогалась от этой, вероятно, совсем неожиданной ею ласки, что заплакала и убежала во внутрен-

⁹ Так (лат.).

ние покои.

Впоследствии она не раз ходила к митрополиту, получала от него благословения, образки и книжечки и кончила тем, что перешла в православие и, говорят, вела в мире чрезвычайно высокую подвижническую жизнь и всегда горячо любила и уважала Филарета. Но в этот же самый визит его к П. он показал себя нам и в ином свете: едва он уселся в почетном месте на диване, как к нему подсоседалась свояченица хозяина, пожилая девица, и пустилась его «занимать».

Вероятно желая блеснуть своею светскостию, она заговорила с сладкою улыбкою:

– Как я думаю, вам, ваше высокопреосвященство, скучно здесь после Петербурга?

Митрополит поглядел на нее и, – бог его знает, связал ли он этот вопрос с историей своего отбытия из Петербурга, или так просто, – ответил ей:

– Что это такое?.. что мне Петербург?.. – и, отвернувшись, добавил: —Глупая, – право, глупая.

Тут я заметил всегда после мною слышанную разницу в его интонации: он то говорил немножко надтреснутым, слабым старческим голосом, как бы с неудовольствием, и потом мягко пускал добрым стариковским баском.

«Что мне Петербург?» – это было в первой манере, а «глупая» – баском.

Первое это впечатление, которое он на меня произвел, было странное: он мне показался и очень добрым и грубоватым.

Впоследствии первое все усиливалось, а второе ослабевало.

Потом я помню – раз рабочий-штукатур упал с колокольни на плитяной помост и расшибся.

Митрополит остановился над ним, посмотрел ему в лицо, вздохнул и проговорил ласково:

– Эх ты, глупый какой! – благословил его и прошел.

Был в Киеве священник о. Ботвиновский – человек не без обыкновенных слабостей, но с совершенно необыкновенною добротою. Он, например, сделал раз такое дело: у казначея Т. не достало что-то около тридцати тысяч рублей, и ему грозила тюрьма и погибель. Многие богатые люди о нем сожалели, но никто ничего не делал для его спасения. Тогда Ботвиновский, *никогда до того времени не знавший Т.*, продал все, что имел ценного, заложил дом, бегал без устали, собирая где что мог, и... выручил несчастную семью.

Владыка, узнав об этом, промолвил:

– Ишь какой хороший!

О. Ботвиновскому за это добро вскоре заплатили самую черную неблагодарностью и многими доносами, которые дошли до митрополита. Тот призвал его и спросил: правда ли, что о нем говорят?

– По неосторожности, виноват, владыка, – отвечал Ботвиновский.

– А!.. зачем ты трубку из длинного чубука куришь, а?

– Виноват, владыка.

– Что виноват... тоже по неосторожности! А! Как смеешь! Разве можно попу из длинного чубука!.. – он на него покричал и будто сурово прогнал, сказав:

– Не смей курить из длинного чубука! Сейчас сломай свой длинный чубук!

О коротком – ничего сказано не было; а во всех других частях донос оставлен без последствий.

Тожe помню, раз летом в Киев наехало из Орловской губернии одно знакомое мне дворянское семейство, состоявшее из матери, очень доброй пожилой женщины, и шести взрослых дочерей, которые все были недурны собою, изрядно по-тогдашнему воспитаны и имели состояньице, но ни одна из них не выходила замуж. Матери их это обстоятельство было неприятно и представлялось верхом возмутительнейшей несправедливости со стороны всей мужской половины человеческого рода. Она сделала по этому случаю такой обобщающий вывод, что «все мужчины подлецы – обедать обедают, а жениться не женятся».

Высказавшись мне об этом со всею откровенностью, она добавила, что приехала в Киев специально с тою целию, чтобы помолиться «насчет судьбы» дочерей и спросить о ней жившего тогда в Китаевой пустыни старца, который бог весть почему слыл за прозорливца и пророка.¹⁰

Патриархальное орловское семейство расположилось в

¹⁰ Это никак не должно быть относимо к превосходному старцу Парфению, который жил в Голосееве. (Прим. Лескова.).

нескольких номерах в лаврской гостинице, где я получил обязанность их навещать, а главная услуга, которой от меня требовала землячка, заключалась в том, чтобы я сопутствовал им в Китаев, где она пылала нетерпением увидеть прозорливца и спросить его «о судьбе».

От этого я никак не мог отказаться, хотя, признаться, не имел никакой охоты беспокоить мудреного анахорета, о прозорливости которого слышал только, что он на приветствие: «*здравствуйте, батюшка*», – всегда, или в большинстве случаев, отвечал: «*здравствуй, окаянный!*»

– Стоит ли, – говорю, – для этого его, божьего старичка, беспокоить?

Но мои дамы встосковались:

– Как же это можно, – говорят, – так рассуждать? Разве это не грех такого случая лишиться? Вы тут все по-новому – сомневаетесь, а мы просто верим и, признаться, затем только больше сюда и ехали, чтобы его спросить. Молиться-то мы и дома могли бы, потому у нас и у самих есть святыня: во Мценске – Николай-угодник, а в Орле в женском монастыре – божия мать прославилась, а нам провидящего старца-то о судьбе спросить дорого – чту он нам скажет?

– Скажет, – говорю, – «здравствуйте, окаянные!»

– Что же такое, а может быть, – отвечают, – он для нас и еще что-нибудь прибавит?

«Что же, – думаю, – и впрямь, может быть, и „прибавит“».

И они не ошиблись: он им кое-что прибавил. Поехали мы

в густые голосеевские и китаевские леса, с самоваром, с сушеными карасями, арбузами и со всякой иной провизией; отдохнули, помолились в храмах и пошли искать прозорливца.

Но в Китаеве его не нашли: сказали нам, что он побрел лесом к Голосееву, где о ту пору жил в летнее время митрополит.

Шли мы, шли, отбирая языков у всякого встречного, и, наконец, попали в какой-то садик, где нам указано было искать провидца.

Нашли, и сразу все мои дамы ему *в ноги* и запищали:

– Здравствуйте, батюшка!

– Здравствуйте, окаянные, – ответил старец.

Дамы немножко опешили; но мать, видя, что старец повернул от них и удаляется, подвинулась отвагою и завопила ему вслед:

– А еще-то хоть что-нибудь, батюшка, скажите!

– Ладно, – говорит, – прощайте, окаянные!

И с этим он нас оставил, а вместо него тихо из-за кусточка показался другой старец, – небольшой, но ласковый, и говорит:

– Чего, дурочки, ходите? Э-эх, глупые, глупые – ступайте в свое место, – и тоже сам ушел.

– Кто этот, что второй-то с нами говорил? – спрашивали меня дамы.

– А это, – говорю, – митрополит.

– Не может быть!

– Нет, именно он.

– Ах, боже!.. вот счастья-то сподобились! будем рассказывать всем, кто в Орле, – не поверят! И как, голубчик, ласков-то!

– Да ведь он наш, орловский, – говорю.

– Ах, так он, верно, нас по разговору-то заметил и облакал.

И ну плакать от полноты счастья...

Этот старец действительно был сам митрополит, который в сделанной моим попутчицам оценке, по моему убеждению, оказал гораздо более прозорливости, чем первый провидец. «Окаянными» моих добрых и наивных землячек назвать было не за что, но глупыми – весьма можно.

Но со всеми-то с этими только данными для суждения о характере покойного митрополита какие можно было вывести соображения насчет того, что он сделает в деле интролигатора, где все мы понемножечку милосердовали, но никто ничего не мог сделать, – не исключая даже такое, как ныне говорят, «высокопоставленное» и многовластное лицо, как главный начальник края... Как там этого ни представляй, а все в результате выходило, что все походили около печи, а никто оттуда горячего каштана своими руками не выхватил, а труд вынуть этот каштан предоставили престарелому митрополиту, которому всего меньше было касательства к злобе нашего дня.

Что же он, в самом деле, учинит?

XVII

Но в нетерпеливом ожидании результата, который должен был последовать в самом остром моменте этого чисто мирского, казенного дела от духовного владыки, мне припомнился еще один, довольно общеизвестный в свое время в Киеве случай, где митрополит Филарет своим милосердием дал неожиданный оборот одному деликатнейшему обстоятельству.

В одном дружественном доме Т. случилось ужасное несчастье: чрезвычайно религиозная, превосходно образованная, возвышеннейшей души дама К. Ф. окончила жизнь самоубийством, и притом, как нарочно, распорядилась всем так, что не было никакой возможности отнести ее несчастную решимость к *умоповреждению* или какому-нибудь иному мозговому расстройству.

Врач М—к не давал такого свидетельства, а без того полиция не позволяла погребения с церковным обрядом и на христианском кладбище.

Все это, разумеется, еще более увеличивало скорбь и без того пораженного событием семейства, но делать было нечего...

Тогда одному из родственников покойной, Альфреду Юнгу, плохому редактору «Киевского телеграфа», но прекрасного сердца человеку, пришла мысль броситься к митропо-

литу и просить у него разрешения похоронить покойницу как следует, по обрядам церкви, несмотря на врачебно-полицейские акты, которые исключали эту возможность.

Митрополит принял Юнга (хотя время уже было неурочное, – довольно поздно к вечеру), – выслушал о несчастье Т., покачал головой и, вздохнув, заговорил:

– Ах, бедная, бедная, бедная... Знал ее, знал... бедная.

– Владыка! не позволяют ее схоронить по обряду... это для семейства ужасно!

– Ну зачем не схоронить? Кто смеет не позволить?

– Полиция не позволяет.

– Ну что там полиция! – перебил с милосердным нетерпением Филарет. – Ишь что выдумали.

– Это потому, ваше высокопреосвященство, что врач находит, что она в полном уме...

– Ну-у что там врач... много он знает о полном уме! Я лучше его знаю... Женщина... слабая... немощный сосуд – скудельный: приказываю, чтобы ее схоронили по обряду, да, приказываю.

И как он приказал – разумеется, так и было. Могло то же самое или что-нибудь в этом роде случиться и сейчас: он все ведь был тот же сегодня, как и тогда, и ныне он тоже мог что-нибудь такое «лучше» всех нас знать и решить все так, чтобы милость и истина встретились и правда и суд облобызались. Что же дивного, когда дело пошло не на то, чем мы руководимся, а на то, что он усмотрит.

Скажет: «я лучше их знаю», – и конец!

И ни на минуту до сей поры не уверенный в возможности спасения интролигатора, я вдруг стал верить, что неожиданное направление, данное делу князем Васильчиковым, привело это дело как раз к такому судии, который разрешит его самым наисовершеннейшим образом.

Я тогда не читал еще ни сочинений блаженного Августина, о которых упоминаю в начале этого рассказа,¹¹ и не знал превосходного положения Лаврентия Стерна,¹² но просто *по сердцу* думал, что не может быть, чтобы митрополит счел за благоприятное для церкви приобретение такого человека, который, по меткому выражению Стерна, делает православию визит в своем поганом халате! Что за прибыль в новых прозелитах, которые потом составляют в христианстве тот вредный, но, к сожалению, постоянный кадр людей без веры, без чести, без убеждений – людей, ради коих «имя Божие хулится во языцех».

«Нет, – говорил я себе, – нет: митрополит решит это правильно и прекрасно».

И я не ошибся, и теперь возвращаюсь к моему рассказу, с

¹¹ «De fide et operibus» и «De catechisandis rudibus».

¹² Известный английский юморист, пастор суттонского прихода, Лаврентий Стерн, прославившийся своим веселым остроумием и нежною чувствительностью, говорит: «Напрасно думают быть христианами те, которые не постарались сделаться добрыми людьми. Идти ко Христу, имея недобрые замыслы против человека, более несоответственно, чем делать визит в халате». (Стерн, ч. 2, стр. 6 и 7). (Прим. Лескова.).

тем чтобы на сей раз уже заключить его концом, венчающим дело.

Приглашаю теперь читателя возвратиться к тому моменту, когда жид и чиновник поехали к митрополиту в лавру.

XVIII

Жид с утра в этот день не представлял того ужасающего отчаяния, с каким он явился вчера вечером. Правда, что он и теперь завывал, метался, дергался «на резинке», но сравнительно со вчерашним это было спокойнее. Это, может быть, до известной степени объяснялось тем, что он утром сбегал на постоянный двор, где содержались рекруты, и издали посмотрел на сынишку. Но когда интролигатора посадили в сани, приступы отчаяния с ним опять возобновились, и еще в сугубом ожесточении. Он, говорят, походил на сумасшедшего или на упившегося до безумия: он схватывался, вскакивал, голосил, размахивал в воздухе руками и несколько раз порывался скатиться кубарем с саней и убежать. Куда и зачем? – это он едва ли понимал, но когда они проезжали под одною из арок крепостных валов, ему это, наконец, удалось: он выпал в снег и, вскочив, бросился к стене, заломил на нее вверх руки и завыл:

– Ой, Иешу! Иешу! що твий пип со мной зробить?

Два услужливые солдатика, которые подоспели на этот случай, взяли его, погнули как надо, чтобы усадить в сани, и поезд чрез пару секунд остановился у святых ворот, или, как в Киеве говорят, *у святойбрамы*.

Тут не пером описать то, что начало делаться с евреем, пока дошло до конца дело: он делал поклоны и реверансы не

только встречным живым инокам, но даже и стенным изображениям, которые, вероятно, производили на него свое впечатление, и все вздыхал.

Подслеповатый инок, сидевший под брамою с кропилом за чашею святой воды, покропил его, – он обтерся и пошел за своим вождем далее.

Теперь надо было уже получить доступ к митрополиту, представиться ему и ждать: чем он обрадует?

Друкарт все, конечно, обдумал, как ему исполнить возложенное на него поручение: он хотел оставить еврея где будет удобно внизу и велеть доложить митрополиту об одном себе и единолично, спокойно и последовательно изложить все дело и, насколько возможно, склонить доброго старца к состраданию к несчастному интролигатору: а там, разумеется, – что будет, то будет.

Не знаю, вышло бы хорошо или худо, если бы дело пошло таким образом, по объясненному, рассчитанному плану; но все это никуда не годилось, потому что с верхов для развязки всей этой истории учрежден был другой план.

Напоминаю, что это было в самый превосходный, погожий день. Покойный владыка Филарет тогда уже был близок к закату дней и постоянно прихварывал, и даже очень мучительно и тяжело. Страдания его облегчал профессор Вл. Аф. Караваев, а еще чаще его помощник, г. Заславский, которого покойный в шутку звал «отец Заславский». Промежутки, когда он был здоровее и мог обходиться без визитов «отца

Заславского», были непродолжительны и нечасты, но, однако, бывали – и тогда он бодрился и даже выходил на воздух.

Жид и его предстатель как раз попали на такой случай: не успели они, обогнув колокольню, завернуть вправо к митрополитским покоям, как увидели у дверей на помосте небольшую группу чернецов, – кажется, по рассказу, человека три или четыре, и между ними сам владыка.

Выйдя на короткое, вероятно, время вздохнуть мягким воздухом прекрасного дня, митрополит был без клобука и всяких других знаков своего сана – по-домашнему, в теплой шубке и мягеньком колпачке, но Друкарт узнал его издали и, поклонясь, подошел и начал излагать цель своего посольства.

Митрополит слушал, не обнаруживая никакого внимания и прищуривая прозрачные, тогда уже потемневшие веки своих глаз, и все смотрел на крышу одного из куполов великой церкви, по которому на углеве расположились голуби, галки и воробьи. По-видимому, его как будто очень занимали птицы, но когда Друкарт досказал ему историю – как наемщик обманул своего нанимателя, он тихонько улыбнулся и проговорил:

– Ишь ты, вор у вора дубинку украл, – и, покачав головою, опять продолжал смотреть на птичек.

– Владыко, – говорил ему между тем Друкарт, – это дело теперь в таком положении... – и он изложил все известное нам положение.

Митрополит молчал и по-прежнему вдыхал в себя воздух и смотрел на птиц.

Положение посла становилось затруднительно, – он еще рассказал что-то и умолк; владыка тоже молчал и смотрел на птичек.

– Что прикажете доложить князю, ваше высокопреосвященство, – снова попытался так Друкарт. – Его сиятельство усердно вас просит, так как закон ставит его в невозможность...

– Закон... в невозможность... меня просит! – как бы вслух подумал митрополит и вдруг неожиданно перевел глаза на интролигатора, который, страшно беспокоясь, стоял немного поодаль перед ним в согбенной позе...

Слабые веки престарелого владыки опустились и опять поднялись, и нижняя челюсть задвигалась.

– А? что же мне с тобою делать, жид! – протянул он и добавил вопросительно: – а? Ишь ты, какой дурак!

Дергавшийся на месте интролигатор, слышав обращенное к нему слово, так и рухнулся на землю и пошел извиваться, рыдая и лепеча опять: «Иешу! Иешу! Ганоцри! Ганоцри!»

– Что ты, глупый, кричишь? – проговорил митрополит.

– Ой, васе... ой, васе... васе высокопреосвященство... коли же... коли же никто... никто... як ви...

– Неправда: никто как Бог, а не я, – глупый ты!

– Ой бог, ой бог... Ой Иешу. Иешу...

– Зачем говоришь Иешу? – скажи: Господи Иисусе Хри-

сте!

– Ой, коли же... господи, ой, Сусе Хриште... Ой, ой, дай мне... дай мне, гошподин... гошподи... дай мое детко!

– Ну, вот так!.. Глупый...

– Он до безумия измучен, владыка, и... удивительно, как он еще держится, – поддержал тут Друкарт.

Митрополит вздохнул и тихо протянул с задушевностью в голосе:

– Любы николи же ослабеваает, – опять поднял глаза к птичкам и вдруг как бы им сказал:

– Не достоин он крещения... отослать его в прием, – и с этим он в то же самое мгновение повернулся и ушел в свои покои.

Апелляции на этот *владычный суд* не было, и все были довольны, как истинно «смирнейший» первосвященник стал вверху всех положений. «Недостойного» крещения хитреца привели в прием и забрили, а ребёнка отдали его отцу. Их счастьем и радостью любоваться было некогда; забритый же наемщик, сколько мне помнится, после приема окрестился: он не захотел потерять хорошей крестной матери и тех тридцати рублей, которые тогда давались каждому новокрещенцу-еврею...

Значит, и с этой стороны потери не было, и я на этом мог бы и окончить свой рассказ, если бы к нему не принадлежал особый, весьма замечательный эпилог.

XIX

(Глава вместо эпилога)

С прекращением Крымской войны и возникновением гласности и новых течений в литературе немало молодых людей оставили службу и пустились искать занятий при частных делах, которых тогда вдруг развернулось довольно много. Этим движением был увлечен и я.

Мне привелось примкнуть к операциям одного английского торгового дома, по делам которого я около трех лет был в беспрестанных разъездах.

Останавливаясь, как требовали дела, то в одном, то в другом месте, иногда довольно подолгу, я в свободное время много читал и покупал интересовавших меня старых и новых сочинений. Так, купив раз на ярмарке у ворот Троице-Сергиевой лайры сочинения Вольтера, я заинтересовался нападкамн этого писателя на Библию. Что это в самом деле: как и *на чем* могло быть написано Моисеем Пятокнижие, *каким способом* мог быть истолчен в порошок золотой телец, когда золото в порошок не толчется, и тому подобные вопросы смущали меня и заставляли искать на них удовлетворительного, резонного решения.

Мне захотелось во что бы то ни стало достать и прочесть так называемые «Иудейские письма к господину Вольтеру»,

давно разошедшееся русское издание, которое составляет библиографическую редкость.

За получением книг в этом роде тогда обращались в московский магазин Кольчугина на Никольской, но там на этот случай тоже не было этой книги, и мне указали на другую лавку, приказчик которой мне обещал достать «Иудейские письма» у какого-то знакомого ему переплетчика.

Я ждал и наведывался, когда достанут, а книги всё не доставали: говорили, что переплетчика этого нет, – что он где-то в отлучке.

Так дотянулось время, что мне надо было уже и уезжать из Москвы, и вот накануне самого отъезда я еще раз зашел в лавку, и мне говорят:

– Он приехал, – посидите, должен сейчас принести. Я присел и пересматриваю кое-какое книжное старье, как вдруг слышу, говорят:

– Несет!

С этим, вижу, в лавку входит *старик*– седой, очень смиренного, покойного вида, но с несомненно еврейским обликом, – одет в русскую мещанскую чуйку и в русском суконном картузе с большим козырем; а в руках связка книг в синем бумажном платке.

– Ишь как ты долго, Григорий Иванович, собирался, – говорят ему.

– Часу не было, – отвечает он, спокойно кладя на прилавок и вывязывая из платка книги.

Ему, не говоря ни слова, заплатили сколько-то денег, а мне сказали, что пришлют книги вечером вместе с другими и со счетом.

Понятно, что это был торговый прием, – да и не в этом дело; а мне нравился сам переплетчик, и я с ним разговорился. Предметом разговора были поначалу эти же принесенные им книги «Иудейские письма к господину Вольтеру».

– Интересные, – говорю, – эти книги?

– Н... да, – отвечает, – разумеется... кто не читал – интересные.

– Как вам кажется: действительно ли они писаны раввинами?

– Н... н... бог знает, – отвечал он словно немножко нехотя и вдруг, приветно улыбнувшись, добавил: – читали, может быть, про Бубель (в речи его было много еврейского произношения): она про що немует, як онемевший Схария, про що гугнит, як Моисей... Кто ее во всем допытать может? Фай! ничего не разберешь! – вот Евангелиум – то книжка простая, ясная, а Бубель...

Он махнул рукою и добавил:

– Бог знает, що там когда и як да ещо и на чем писано? – с того с ума сходили!

Я выразил некоторое удивление, что он знает Евангелие.

– А що тут за удивительно, як я христианин?..

– И вы давно приняли христианство?

– Нет, не очень давно...

– Кто же вас убедил, – говорю, – в христианстве?

– Ну, то же ясно есть и у Бубель: там писано, що Мессия во втором храме повинен прийти, ну я и увидел, що он пришел... Чего же еще шукать али ждать, як он уже с нами?

– Однако евреи все это место читали, а не верят.

– Не верят, бо они тех талмудов да еще чего-нибудь пустого начитались и бог знает якии себе вытребеньки повыдумляли: який он буде Мессия и як он ни бы то никому не ведомо откуда явиться и по-земному царевать станет, а они станут понувать в мире... Але все то пустое: он пришел в нашем, в рабском теле, и нам треба только держати его учительство. Прощайте!

Он поклонился и вышел, а я разговорился о нем с лавочником, который рассказал мне, что это человек «очень умственный».

– Да какой, – говорю, – в самом деле он веры?

– Да истинно, – отвечает, – он крещеный – иные его даже вроде подвижника понимают.

– Он, – говорю, – и начитанный, кажется?

– Про это и говорить нечего, но только редко с кем о книгах говорит, и то словцо кинет да рукой махнет; а своим – жидам так толкует и обращает их и много от них терпит: они его и били и даже раз удавить хотели, ну он не робеет: «приходил, говорит, Христос, и другого не ждите – не будет».

– Ну а они что же?

– Ну и они тоже руками махают: и он махает, и они маха-

ют, а сами всё гыр-гыр, как зверье, рычат, а потом и ничего – образумятся.

– И семья у него вся христиане?

Купец засмеялся.

– Какая же, – говорит, – у него может быть семья, когда он этакой суевер?

– Чем же суевер?

– Да, а как его иначе понимать: никакого правила не держит, и деньги тоже...

– Деньги любит? – перебиваю.

– Какой же любит, когда все, что заработает, – одною рукою возьмет, а другую отдаст.

– Кому же?

– Все равно.

– Только евреям или христианам?

– Говорю вам: все равно. Он ведь помешан.

– Будто!

– Верно вам говорю: с ним случай был.

– Какой?

Тут и сам этот мой собеседник рукою замахал.

– Давно, – говорит, – у него где-то сына, что ли, в набор было взяли, да что-то такое тонул он, да крокодил его кусал, а потом с наемщиком у него вышло, что принять его не могли, пока киевский Филарет благословил, чтобы ему лоб забрить; ну а сынишка-то сам собою после вскоре умер, заморили его, говорят, ставщики, и жена померла, а сам он – этот

человек – подумавши был в состоянии и... «надо, говорит, мне больше не о земном думать, а о небесном, потому самое лучшее, говорит, разрешиться и со Христом быть...»

Ну, тут мне и вспомнилось, где я этого человека видел, и вышло по присловию: «привел бог свидеться, да нечего дать»: он был уже слишком много меня богаче.

XX

И еще два слова в личное мое оправдание.

С некоторых пор в Петербурге рассказывают странную историю: один известнейший «иерусалимский барон» добивается, чтобы ему дали подряд на нашу армию. Опасаясь, что этот господин все дело поведет с жидами и по-жидовски, ему не хотят дать этой операции... И что же: седьмого или восьмого сего февраля читаю об этом уже в газетах, с дополнением, что «иерусалимский барон» кинулся ко «всемогущим патронессам», которые придумали самое благонадежное средство поправить дело *в своем вкусе: они крестят барона, и, кажется, со всею его подрядною свитою!!*

Газеты называют это «новым миссионерским приемом» и говорят («Новое время», № 340), что «люди, от которых зависит отдача сукна, подметок, овса и сена, у нас могут быть миссионерами гораздо счастливее тех наших миссионеров, которые так неуспешно действуют на Дальнем Востоке». Газета находит возможным, что «наши великосветские старухи воспользуются счастливою мыслию обращать в православие за небольшую поставку сапожного товара».

Констатируя этот факт как неоспоримое доказательство, что моя книжка «На краю света» ничего в воззрении великосветских крестителей не изменила, я почтительно прошу моих высокопросвещенных судей – вменить мне это в облег-

чающее обстоятельство.

Впервые опубликовано – журнал «Странник», 1877.